

Лидия Чарская Записки маленькой гимназистки

1. В чужой город, к чужим людям

Тук-тук! Тук-тук! Тук-тук! — стучат колеса, и поезд быстро мчится все вперед и вперед.

Мне слышатся в этом однообразном шуме одни и те же слова, повторяемые десятки, сотни, тысячи раз. Я чутко прислушиваюсь, и мне кажется, что колеса выстукивают одно и то же, без счета, без конца: вот так-так! вот так-так! вот так-так!

Колеса стучат, а поезд мчится и мчится без оглядки, как вихрь, как стрела...

В окне навстречу нам бегут кусты, деревья, станционные домики и телеграфные столбы, наставленные по откосу полотна железной дороги...

Или это поезд наш бежит, а они спокойно стоят на одном месте? Не знаю, не понимаю.

Впрочем, я многого не понимаю, что случилось со мною за эти последние дни.

Господи, как все странно делается на свете! Могла ли я думать несколько недель тому назад, что мне придется покинуть наш маленький, уютный домик на берегу Волги и ехать одной-одинешеньке за тысячи верст к каким-то дальним, совершенно неизвестным родственникам?.. Да, мне все еще кажется, что это только сон, но — увы! — это не сон!..

— Петербург! — раздался за моей спиной голос кондуктора, и я увидела перед собою его доброе широкое лицо и густую рыжеватую бороду.

Этого кондуктора звали Никифором Матвеевичем. Он всю дорогу заботился обо мне, поил меня чаем, постлал мне постель на лавке и, как только у него было время, всячески развлекал меня. У него, оказывается, была моих лет дочурка, которую звали Нюрой и которая с матерью и братом Сережей жила в Петербурге. Он мне и адрес даже свой в карман сунул — «на всякий случай», если бы я захотела навестить его и познакомиться с Нюрочкой.

— Очень уж я вас жалею, барышня, — говорил мне не раз во время моего недолгого пути Никифор Матвеевич, — потому сиротка вы, а Бог сироток велит любить. И опять, одна вы, как есть одна на свете; петербургского дяденьки своего не знаете, семьи его также... Нелегко ведь... А только, если уж очень невмоготу станет, вы к нам приходите. Меня дома редко застанете, потому в разъездах я все больше, а жена с Нюркой вам рады будут. Они у меня добрые...

Я поблагодарила ласкового кондуктора и обещала ему побывать у него...

— Петербург! — еще раз выкрикнул за моей спиной знакомый голос и, обращаясь ко мне, добавил: — Вот и приехали, барышня. Дозвольте, я вещички ваши соберу, а то после поздно будет. Ишь суетня какая!

И правда, в вагоне поднялась страшная суматоха. Пассажиры и пассажирки суетились и толкались, укладывая и увязывая вещи. Какая-то старушка, ехавшая напротив меня всю дорогу, потеряла кошелек с деньгами и кричала, что ее обокрали. Чей-то ребенок плакал в углу. У двери стоял шарманщик и наигрывал тоскливую песенку на своем разбитом инструменте.

Я выглянула в окно. Господи! Сколько труб я увидела! Трубы, трубы и трубы! Целый лес труб! Из каждой вился серый дымок и, поднимаясь вверх, расплывался в небе. Моросил мелкий осенний дождик, и вся природа, казалось, хмурилась, плакала и жаловалась на что-то.

Поезд пошел медленнее. Колеса уже не выкрикивали свое неугомонное «вот так-так!». Они стучали теперь значительно протяжнее и тоже точно жаловались на то, что машина насильно задерживает их бойкий, веселый ход.

И вот поезд остановился.

— Пожалуйте, приехали, — произнес Никифор Матвеевич.

И, взяв в одну руку мой теплый платок, подушку и чемоданчик, а другою крепко сжав

мою руку, повел меня из вагона, с трудом протискиваясь через толпу.

2. Моя мамочка

Была у меня мамочка, ласковая, добрая, милая. Жили мы с мамочкой в маленьком домике на берегу Волги. Домик был такой чистый и светленький, а из окон нашей квартиры видно было и широкую, красивую Волгу, и огромные двухэтажные пароходы, и барки, и пристань на берегу, и толпы гуляющих, вышедших в определенные часы на эту пристань встречать приходящие пароходы... И мы с мамочкой ходили туда, только редко, очень редко: мамочка давала уроки в нашем городе, и ей нельзя было гулять со мною так часто, как бы мне хотелось. Мамочка говорила:

— Подожди, Ленуша, накоплю денег и прокачу тебя по Волге от нашего Рыбинска вплоть до самой Астрахани! Вот тогда-то нагуляемся вдоволь.

Я радовалась и ждала весны.

К весне мамочка прикопила немножко денег, и мы решили с первыми же теплыми днями исполнить нашу затею.

— Вот как только Волга очистится от льда, мы с тобой и покатым! — говорила мамочка, ласково поглаживая меня по голове.

Но когда лед тронулся, она простудилась и стала кашлять. Лед прошел, Волга очистилась, а мамочка все кашляла и кашляла без конца. Она стала как-то разом худенькая и прозрачная, как воск, и все сидела у окна, смотрела на Волгу и твердила:

— Вот пройдет кашель, поправлюсь немного, и покатым мы с тобою до Астрахани, Ленуша!

Но кашель и простуда не проходили; лето было сырое и холодное в этом году, и мамочка с каждым днем становилась все хуже, бледнее и прозрачнее.

Наступила осень. Подошел сентябрь. Над Волгой потянулись длинные вереницы журавлей, улетающих в теплые страны. Мамочка уже не сидела больше у окна в гостиной, а лежала на кровати и все время дрожала от холода, в то время как сама была горячая как огонь.

Раз она подозвала меня к себе и сказала:

— Слушай, Ленуша. Твоя мама скоро уйдет от тебя навсегда... Но ты не горюй, милушка. Я всегда буду смотреть на тебя с неба и буду радоваться на добрые поступки моей девочки, а...

Я не дала ей договорить и горько заплакала. И мамочка заплакала также, а глаза у нее стали грустные-грустные, такие же точно, как у того ангела, которого я видела на большом образе в нашей церкви.

Успокоившись немного, мамочка снова заговорила:

— Я чувствую, Господь скоро возьмет меня к Себе, и да будет Его святая воля! Будь умницей без мамы, молись Богу и помни меня... Ты поедешь жить к твоему дяде, моему родному брату, который живет в Петербурге... Я писала ему о тебе и просила приютить сиротку...

Что-то больно-больно при слове «сиротка» сдавило мне горло...

Я зарыдала, заплакала и забилась у маминой постели. Пришла Марьюшка (кухарка, жившая у нас целые девять лет, с самого года моего рождения, и любившая мамочку и меня без памяти) и увела меня к себе, говоря, что «мамаше нужен покой».

Вся в слезах уснула я в эту ночь на Марьюшкиной постели, а утром... Ах, что было утром!..

Я проснулась очень рано, кажется, часов в шесть, и хотела прямо побежать к мамочке.

В эту минуту вошла Марьюшка и сказала:

— Молись Богу, Леночка: Боженька взял твою мамашу к себе. Умерла твоя мамочка.

— Умерла мамочка! — как эхо повторила я.

И вдруг мне стало так холодно-холодно! Потом в голове у меня зашумело, и вся

комната, и Марьюшка, и потолок, и стол, и стулья — все перевернулось и закружилось в моих глазах, и я уже не помню, что случилось со мною вслед за этим. Кажется, я упала на пол без чувств...

Очнулась я тогда, когда уже мамочка лежала в большом белом ящике, в белом платье, с белым веночком на голове. Старенький седенький священник читал молитвы, певчие пели, а Марьюшка молилась у порога спальни. Приходили какие-то старушки и тоже молились, потом глядели на меня с сожалением, качали головами и шамкали что-то беззубыми ртами...

— Сиротка! Круглая сиротка! — тоже покачивая головой и глядя на меня жалостливо, говорила Марьюшка и плакала. Плакали и старушки...

На третий день Марьюшка подвела меня к белому ящику, в котором лежала мамочка, и велела поцеловать мне мамочкину руку. Потом священник благословил мамочку, певчие запели что-то очень печальное; подошли какие-то мужчины, закрыли белый ящик и понесли его вон из нашего домика...

Я громко заплакала. Но тут подросли знакомые мне уже старушки, говоря, что мамочку несут хоронить и что плакать не надо, а надо молиться.

Белый ящик принесли в церковь, мы отстояли обедню, а потом снова подошли какие-то люди, подняли ящик и понесли его на кладбище. Там уже была вырыта глубокая черная яма, куда и опустили мамочкин гроб. Потом яму забросали землею, поставили над нею белый крестик, и Марьюшка повела меня домой.

По дороге она говорила мне, что вечером повезет меня на вокзал, посадит в поезд и отправит в Петербург к дяде.

— Я не хочу к дяде, — проговорила я угрюмо, — не знаю никакого дяди и боюсь ехать к нему!

Но Марьюшка сказала, что стыдно так говорить большой девочке, что мамочка слышит это и что ей больно от моих слов.

Тогда я притихла и стала припоминать лицо дяди.

Я никогда не видела моего петербургского дяди, но в мамочкином альбоме был его портрет. Он был изображен на нем в золотом шитом мундире, со множеством орденов и со звездой на груди. У него был очень важный вид, и я его невольно боялась.

После обеда, к которому я едва притронулась, Марьюшка уложила в старый чемоданчик все мои платья и белье, напоила меня чаем и повезла на вокзал.

3. Клетчатая дама

Когда подъехал поезд, Марьюшка отыскала знакомого кондуктора и просила его довезти меня до Петербурга и смотреть за мною дороною. Затем она дала мне бумажку, на которой записано было, где живет в Петербурге мой дядя, перекрестила меня и, сказав: «Ну, будь умницей!» — простилась со мною...

Всю дорогу я провела точно во сне. Напрасно сидевшие в вагоне старались развлечь меня, напрасно добрый Никифор Матвеевич обращал мое внимание на попадавшиеся нам по дороге разные деревни, строения, стада... Я ничего не видела, ничего не замечала...

Так доехала я до Петербурга...

Выйдя с моим спутником из вагона, я была сразу оглушена шумом, криками и сутолокой, царившими на вокзале. Люди бежали куда-то, сталкивались друг с другом и снова бежали с озабоченным видом, с руками, занятыми узлами, свертками и пакетами.

У меня даже голова закружилась от всего этого шума, грохота, крика. Я не привыкла к нему. В нашем приволжском городе не было так шумно.

— А кто же вас встречать будет, барышня? — вывел меня из задумчивости голос моего спутника.

Я невольно смутилась его вопросом.

Кто меня будет встречать? Не знаю!

Провожая меня, Марьюшка успела сообщить мне, что ею послана телеграмма в

Петербург дяде, извещающая его о дне и часе моего приезда, но выедет ли он меня встретить или нет — этого я положительно не знала.

И потом, если дядя даже и будет на вокзале, как я узнаю его? Ведь я его только и видела на портрете в мамочкином альбоме!

Размышляя таким образом, я в сопровождении моего покровителя Никифора Матвеевича бегала по вокзалу, внимательно вглядываясь в лица тех господ, которые имели хоть самое отдаленное сходство с дядиным портретом. Но положительно никого похожего не оказывалось на вокзале.

Я уже порядочно таки устала, но все еще не теряла надежды увидеть дядю.

Крепко схватившись за руки, мы с Никифором Матвеевичем метались по платформе, поминутно натыкаясь на встречную публику, расталкивая толпу и останавливаясь перед каждым мало-мальски важного вида господином.

— Вот, вот еще один похожий, кажется, на дядю! — вскричала я с новой надеждой, увлекая моего спутника вслед за высоким седым господином в черной шляпе и широком модном пальто.

Мы прибавили шагу и теперь чуть не бегом бежали за высоким господином.

Но в ту минуту, когда мы уже почти настигли его, высокий господин повернул к дверям зала первого класса и исчез из виду. Я бросилась за ним следом, Никифор Матвеевич за мною...

Но тут случилось нечто неожиданное: я нечаянно запнулась за ногу проходившей мимо дамы в клетчатом платье, в клетчатой накидке и с клетчатым же бантом на шляпе. Дама взвизгнула не своим голосом и, выронив из рук огромный клетчатый зонтик, растянулась во всю свою длину на дощатом полу платформы.

Я бросилась к ней с извинениями, как и подобает хорошо воспитанной девочке, но она даже не удостоила меня хотя бы единым взглядом.

— Невежи! Олухи! Неучи! — кричала на весь вокзал клетчатая дама. — Несутся как угорелые и сбивают с ног порядочную публику! Невежи, неучи! Вот я пожалуюсь на вас начальнику станции! Директору дороги! Градоначальнику! Помогите хоть подняться-то, невежи!

И она барахталась, делая усилия встать, но ей это никак не удавалось.

Никифор Матвеевич и я подняли наконец клетчатую даму, подали ей отброшенный во время ее падения огромный зонтик и стали расспрашивать, не ушиблась ли она.

— Ушиблась, понятно! — все тем же сердитым голосом кричала дама. — Понятно, ушиблась. Что за вопрос! Тут насмерть убить, не только ушибить можно. А все ты! Все ты! — внезапно накинулась она на меня. — Скачешь, как дикая лошадь, противная девчонка! Вот подожди ты у меня, городовому скажу, в полицию отправлю! — И она сердито застучала зонтиком по доскам платформы. — Полицейский! Где полицейский? Позовите мне его! — снова завопила она.

Я обомлела. Страх охватил меня. Не знаю, что бы случилось со мною, если бы Никифор Матвеевич не вмешался в это дело и не заступился за меня.

— Полноте, сударыня, не пугайте ребенка! Видите, девочка сама не своя от страха, — проговорил своим добрым голосом мой защитник, — и то сказать — не виновата она. Сама в расстройстве. Наскочила нечаянно, уронила вас, потому что за дядей спешила. Показалось ей, что дядя идет. Сиротка она. Вчера в Рыбинске мне ее передали с рук на руки, чтобы к дяденьке доставить в Петербург. Генерал у нее дяденька... Генерал Иконин... Фамилии этой не слышали ли?

Едва только мой новый друг и защитник успел произнести последние слова, как с клетчатой дамой произошло что-то необычайное. Голова ее с клетчатым бантом, туловище в клетчатой накидке, длинный крючковатый нос, рыжеватые кудельки на висках и большой рот с тонкими синеватыми губами — все это запрыгало, заметалось и заплясало какой-то странный танец, а из-за тонких губ стали вырываться хриплые, шипящие и свистящие звуки. Клетчатая дама хохотала, отчаянно хохотала во весь голос, выронив свой огромный зонтик и

схватившись за бока, точно у нее сделались колики.

— Ха-ха-ха! — выкрикивала она. — Вот что еще выдумали! Сам дяденька! Сам, видите ли, генерал Иконин, его превосходительство, должен явиться на вокзал встретить эту принцессу! Знатная барышня какая, скажите на милость! Ха-ха-ха! Нечего сказать, разодолжила! Ну, не прогневишься, матушка, на этот раз дядя не выехал к тебе навстречу, а послал меня. Не думал он, что ты за птица... Ха-ха-ха!!!

Не знаю, долго ли еще смеялась бы клетчатая дама, если бы, снова придя мне на помощь, Никифор Матвеевич не остановил ее.

— Полно, сударыня, над дитятей неразумным потешаться, — произнес он строго. — Грех! Сиротка барышня-то... круглая сирота. А сирот Бог...

— Не ваше дело. Молчать! — неожиданно вскричала, прервав его, клетчатая дама, и смех ее разом пресекся. — Несите за мною барышнины вещи, — добавила она несколько мягче и, обернувшись ко мне, бросила вскользь: — Идем. Нет у меня времени лишнего возиться с тобою. Ну, поворачивайся! Живо! Марш!

И, грубо схватив меня за руку, она потащила меня к выходу.

Я едва-едва поспевала за ней.

У крыльца вокзала стояла хорошенькая щегольская пролетка, запряженная красивою вороной лошастью. Седой, важного вида кучер восседал на козлах.

— Степан, подавай! — крикнула во весь голос клетчатая дама.

Кучер дернул вожжами, и нарядная пролетка подъехала вплотную к самым ступеням вокзального подъезда.

Никифор Матвеевич поставил на дно ее мой чемоданчик, потом помог взобраться в экипаж клетчатой даме, которая заняла при этом все сиденье, оставив для меня ровно столько места, сколько потребовалось бы, чтобы поместить на нем куклу, а не живую девятилетнюю девочку.

— Ну, прощайте, милая барышня, — ласково зашептал мне Никифор Матвеевич, — дай вам Бог счастливо устроиться у дяденьки. А ежели что — к нам милости просим. Адресок у вас есть. На самой окраине мы живем, на шоссе у Митрофаниевского кладбища, за заставой... Запомните? А уж Нюрка рада-то будет! Она сироток любит. Хорошая она у меня.

Еще долго бы говорил со мною мой приятель, если бы голос клетчатой дамы не прозвучал с высоты сиденья:

— Ну, долго ли ты еще заставишь ждать себя, несносная девчонка! Что у тебя за разговоры с мужиком! Сейчас же на место, слышишь!

Я вздрогнула, как под ударом хлыста, от этого едва знакомого мне, но успевшего стать уже неприятным голоса и поспешила занять свое место, наскоро пожав руку и поблагодарив моего недавнего покровителя.

Кучер дернул вожжами, лошадь снялась с места, и, мягко подпрыгивая и обдавая прохожих комками грязи и брызгами из луж, пролетка быстро понеслась по шумным городским улицам.

Крепко ухватившись за край экипажа, чтобы не вылететь на мостовую, я с удивлением смотрела на большие пятиэтажные здания, на нарядные магазины, на конки и омнибусы, с оглушительным звоном катившие по улице, и невольно сердце мое сжималось от страха при мысли о том, что ждет меня в этом большом, чужом мне городе, в чужой семье, у чужих людей, про которых я так мало слышала и знала.

4. Семейство Иконовых. — Первые невзгоды

— Матильда Францевна привезла девочку!

— Твою кузину, а не просто девочку...

— И твою тоже!

— Врешь! Я не хочу никакой кузины! Она нищая.

— И я не хочу!

— И я! И я!

— Звонят! Ты оглох, Федор?

— Привезла! Привезла! Ура!

Все это я слышала, стоя перед обитой темно-зеленой клеенкой дверью. На прибитой к двери медной дощечке было выведено крупными красивыми буквами: **ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ СТАТСКИЙ СОВЕТНИК МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ИКОНИН.**

За дверью послышались торопливые шаги, и лакей в черном фраке и белом галстуке, такой, какого я видела только на картинках, широко распахнул дверь.

Едва только я перешагнула порог ее, как кто-то быстро схватил меня за руку, кто-то тронул за плечи, кто-то закрыл мне рукою глаза, в то время как уши мои наполнились шумом, звоном и хохотом, от которого у меня разом закружилась голова.

Когда я очнулась немного и глаза мои снова могли смотреть, я увидела, что стою посреди роскошно убранной гостиной с пушистыми коврами на полу, с нарядной позолоченной мебелью, с огромными зеркалами от потолка до пола. Такой роскоши мне никогда еще не доводилось видеть, и потому немудрено, если все это показалось мне сном.

Вокруг меня толпились трое детей: одна девочка и два мальчика. Девочка была ровесница мне. Белокурая, нежная, с длинными вьющимися локонами, перевязанными розовыми бантиками у висков, с капризно вздернутой верхней губой, она казалась хорошенькой фарфоровой куколкой. На ней было надето очень нарядное белое платье с кружевным воланом и розовым же кушаком. Один из мальчиков, тот, который был значительно старше, одетый в форменный гимназический мундирчик, очень походил на сестру; другой, маленький, кудрявый, казался не старше шести лет. Худенькое, живое, но бледное его личико казалось болезненным на вид, но пара карих и быстрых глазенок так и впились в меня с самым живым любопытством.

Это были дети моего дяди — Жоржик, Нина и Толя, — о которых мне не раз рассказывала покойная мамочка.

Дети молча смотрели на меня. Я — на детей.

Минут пять длилось молчание.

И вдруг младший мальчуган, которому наскучило, должно быть, стоять так, неожиданно поднял руку и, ткнув в меня указательным пальцем, произнес:

— Вот так фигура!

— Фигура! Фигура! — вторила ему белокурая девочка. — И правда: фи-гу-ра! Только верно сказал!

И она запрыгала на одном месте, хлопая в ладоши.

— Очень остроумно, — произнес в нос гимназист, — есть чему смеяться. Просто она мокрица какая-то!

— Как мокрица? Отчего мокрица? — так и всколыхнулись младшие дети.

— Да вон, разве не видите, как она пол намочила. В калошах ввалилась в гостиную. Остроумно! Нечего сказать! Вон наследила как! Лужа. Мокрица и есть.

— А что это такое — мокрица? — любопытствовал Толя, с явным почтением глядя на старшего брата.

— М-м... м-м... м-м... — смешался гимназист, — м-м... это цветок такой: когда к нему прикоснешься пальцем, он сейчас и закроется... Вот...

— Нет, вы ошибаетесь, — вырвалось у меня против воли. (Мне покойная мама читала и про растения, и про животных, и я очень много знала для своих лет). — Цветок, который закрывает свои лепестки при прикосновении, — это мимоза, а мокрица — это водяное животное вроде улитки.

— М-м-м... — мычал гимназист, — не все ли равно, цветок или животное. У нас еще этого не проходили в классе. А вы чего с носом суетесь, когда вас не спрашивают? Ишь какая умница выискалась!.. — внезапно накинулся он на меня.

— Ужасная выскочка! — вторила ему девочка и прищурила свои голубые глазки. — Вы лучше бы за собой следили, чем Жоржа поправлять, — капризно протянула она, — Жорж

умнее вас, а вы вот в калошах в гостиную влезли. Очень красиво!

— Остроумно! — снова процедил гимназист.

— А ты все-таки мокрица! — пропищал его братишка и захихикал. — Мокрица и нищая!

Я вспыхнула. Никто еще не называл меня так. Прозвище нищей обидело меня больше всего остального. Я видела нищих у паперти церковей и не раз сама подавала им деньги по приказанию мамочки. Они просили «ради Христа» и протягивали за милостыней руку. Я руки за милостыней не протягивала и ничего ни у кого не просила. Значит, он не смеет называть меня так. Гнев, горечь, озлобление — все это разом закипело во мне, и, не помня себя, я схватила моего обидчика за плечи и стала трясти его изо всей силы, задыхаясь от волнения и гнева.

— Не смей говорить так. Я не нищая! Не смей называть меня нищей! Не смей! Не смей!

— Нет, нищая! Нет, нищая! Ты у нас из милости жить будешь. Твоя мама умерла и денег тебе не оставила. И обе вы нищие, да! — как заученный урок повторял мальчик. И, не зная, еще чем досадить мне, он высунул язык и стал делать перед моим лицом самые невозможные гримасы. Его брат и сестра хохотали от души, потешаясь этой сценой.

Никогда не была я злючкой, но когда Толя обидел мою мамочку, я вынести этого не могла. Страшный порыв злобы охватил меня, и с громким криком, не задумываясь и сама не помня, что делаю, я изо всей силы толкнула моего двоюродного братца.

Он сильно пошатнулся сначала в одну сторону, потом в другую и, чтобы удержать равновесие, схватился за стол, на котором стояла ваза. Она была очень красивая, вся расписанная цветами, аистами и какими-то смешными черноволосыми девочками в цветных длинных халатах, в высоких прическах и с раскрытыми веерами у груди.

Стол закачался не меньше Толи. С ним закачалась и ваза с цветами и черненькими девочками. Потом ваза скользнула на пол... Раздался оглушительный треск.

Трах!

И черненькие девочки, и цветы, и аисты — все смешалось и исчезло в одной общей груде черепков и осколков.

5. Разбитая ваза. — Тетя Нелли и дядя Мишель

Минуту длилось гробовое молчание. На лицах детей был написан ужас. Даже Толя присмирел и вращал во все стороны испуганными глазами.

Жорж первый нарушил молчание.

— Остроумно! — протянул он в нос.

Ниночка покачала своей красивой головкой, глядя на груду черепков, и произнесла значительно:

— Любимая мамина японская ваза.

— Ну так что же! — прикрикнул на нее старший брат. — А кто виноват?

— Не я только! — выпалил Толя.

— И не я! — поспешила не отстать от него Ниночка.

— Так я, по-вашему, что ли? Остроумно! — обиделся гимназист.

— Не ты, а Мокрица! — выкрикнула Ниночка.

— Конечно, Мокрица! — подтвердил и Толя.

— Мокрица и есть. Надо пожаловаться мамзельке. Зовите сюда вашу Баварию Ивановну — то бишь Матильду Францевну. Ну, чего рты разинули! — командовал Жорж младшим детям. — Не понимаю только, чего она смотрит за вами!

И, пожав плечами, он с видом взрослого человека заходил по зале.

Ниночка и Толя скрылись в одну минуту и тотчас же снова появились в гостиной, таща за собою Матильду Францевну, ту самую клетчатую даму, которая встретила меня на вокзале.

— Что за шум? Что за шкандаль? — спрашивала она, глядя на всех нас строгими

вопрошающими глазами.

Тогда дети, окружив ее, стали рассказывать хором, как все случилось. Если б я не была так убита горем в эту минуту, то невольно удивилась бы тому избытку лжи, которая сквозила в каждой фразе маленьких Икониных.

Но я ничего не слышала и не хотела слышать. Я стояла у окна, смотрела на небо, на серое петербургское небо, и думала: «Там, наверху, моя мамочка. Она смотрит на меня и видит все. Вероятно, она недовольна мною. Вероятно, ей тяжело видеть, как нехорошо поступила сейчас ее Леночка... Мамочка, милая, — шептало мое сильно бьющееся сердце, — разве я виновата, что они такие злые, такие нехорошие задиры?»

— Ты глухая или нет! — внезапно раздался за мною резкий окрик, и цепкие пальцы клетчатой дамы впились мне в плечо. — Ты ведешь себя как настоящая разбойница. Уже на вокзале подставила мне ножку...

— Неправда! — вне себя прервала я резко. — Неправда! Я не делала этого! Я нечаянно толкнула вас!

— Молчать! — взвизгнула она так, что стоявший неподалеку от нее Жорж зажал себе уши. — Мало того что ты груба и резка, ты еще лгунья и драчунья! Нечего сказать, сокровище приобрели мы себе в дом! — И, говоря это, она дергала меня за плечи, за руки и за платье, в то время как глаза ее так и сверкали злобой. — Ты будешь наказана, — шипела Матильда Францевна, — ты будешь строго наказана! Отправляйся снимать бурнус и калоши! Давно пора.

Внезапный звонок заставил ее умолкнуть. Дети разом оправались и подтянулись, услышав этот звонок. Жорж одернул мундирчик, Толя поправил волосы. Одна только Ниночка не обнаружила никакого волнения и, подпрыгивая на одной ножке, побежала в прихожую посмотреть, кто звонил.

Через гостиную пробежал лакей, неслышно скользя по коврам мягкими подошвами, тот самый лакей, который открывал нам двери.

Тотчас же из передней донесся веселый голос Ниночки:

— Мама! Папочка! Как вы поздно!

Послышался звук поцелуя, и через минуту в гостиную вошли очень нарядно одетая в светлосерое платье дама и полный, очень добродушного вида господин с таким же точно, но только менее важным лицом, какое было на дядином портрете.

Красивая, нарядная дама была как две капли воды похожа на Ниночку, или, вернее, Ниночка была вылитая мать. То же холодно-надменное личико, та же капризно вздернутая губка.

— Ну, здравствуй, девочка! — произнес густым басом полный господин, обращаясь ко мне. — Иди-ка сюда, дай взглянуть на тебя! Ну-ну, поцелуй дядю. Нечего дичиться. Живо! — шутливым голосом говорил он...

Но я не двигалась с места. Правда, лицо высокого господина было очень похоже на лицо дяди на портрете, но где же остались его золотом шитый мундир, важный вид и ордена, которые были изображены на портрете? Нет, решила я, это не дядя Миша.

Полный господин, видя мою нерешительность, произнес тихо, обращаясь к даме:

— Она немного дика, Нелли. Уж ты извини. Придется заняться ее воспитанием.

— Благодарю покорно! — отвечала та и сделала недовольную гримаску, отчего вдруг стала еще более походить на Ниночку. — Мало мне забот со своими! Пойдет в гимназию, там ее и вымуштруют...

— Ну, конечно, конечно, — согласился полный господин. А потом прибавил, обращаясь ко мне: — Здравствуй же, Лена! Что ж ты не подойдешь ко мне поздороваться! Я твой дядя Мишель.

— Дядя? — неожиданно сорвалось у меня с губ помимо моего желания. — Вы — дядя? А как же мундир и ордена, где же у вас тот мундир и ордена, которые я видела на портрете?

Он сначала не понял, что я у него спрашиваю. Но разобрав, в чем дело, весело и громко рассмеялся своим громким, густым, басистым голосом.

— Так вот оно что, — добродушно произнес он, — тебе орденов и звезду захотелось? Ну, ордена и звезду я дома не надеваю, девочка. Уж извини, они у меня в комодке лежат до поры до времени... А будешь умницей и скучать у нас не станешь — я тебе их тогда и покажу в награду...

И, наклонившись ко мне, он поднял меня на воздух и крепко поцеловал в обе щеки.

Мне сразу понравился дядя. Он был такой ласковый, добрый, что невольно тянуло к нему. К тому же он доводился родным братом покойной мамочке, и это еще более сблизило меня с ним. Я готова была уже броситься ему на шею и расцеловать его милое, улыбающееся лицо, как внезапно надо мною раздался неприятный, шипящий голос моего нового неожиданного врага — Матильды Францевны.

— Не очень-то ее ласкайте, Herr General (господин генерал), она очень гадкая девочка, — заговорила Матильда Францевна. — Всего только полчаса как у вас в доме, а уже успела наделать много дурного.

И тут же своим противным, шипящим голосом Матильда Францевна пересказала все то, что случилось до прихода дяди и тети. Дети подтвердили ее слова. И никто из них не сказал, почему все это так случилось и кто настоящий виновник всех происшедших бед. Во всем оказалась виновата только Лена, одна только Лена...

«Бедная Лена!.. Мамочка, зачем ты покинула меня?»

По мере того как немка рассказывала, все сумрачнее и печальнее становилось лицо дяди, и тем строже и холоднее смотрели на меня глаза тети Нелли, его жены. Осколки разбитой вазы и следы на паркете от мокрых калош вместе с растерзанным видом Толи — все это далеко не говорило в мою пользу.

Когда Матильда Францевна кончила, тетя Нелли строго нахмурилась и сказала:

— Ты будешь непременно наказана в следующий раз, если позволишь себе что-либо подобное.

Дядя посмотрел на меня грустными глазами и заметил:

— Твоя мама в детстве была кротка и послушна, Лена. Мне жаль, что ты так мало похожа на нее...

Я готова была заплакать от обиды и горечи, готова была броситься на шею дяде и рассказать ему, что все это неправда, что меня обидели совершенно незаслуженно и что я далеко не так виновата, как объяснили ему сейчас. Но слезы душили меня, и я не могла выговорить ни слова. Да и к чему было говорить! Мне бы все равно не поверили...

Как раз в эту минуту на пороге залы появился лакей в белых перчатках, с салфеткою в руках и доложил, что кушать подано.

— Иди сними с себя верхнюю одежду и вымой руки да пригладь волосы, — приказала мне суровым, строгим голосом тетя Нелли. — Ниночка проводит тебя.

Ниночка с неохотой оторвалась от матери, которая стояла обнявшись со своей любимицей. Сказав мне сухо «пойдемте», она повела меня куда-то целым рядом светлых, красиво убранных комнат.

В просторной детской, где стояли три совершенно одинаково убранные кровати, она подвела меня к изящному мраморному умывальнику.

Пока я мыла руки и тщательно обтирала их полотенцем, Ниночка разглядывала меня очень подробно, наклонив немного в сторону свою белокурую головку.

Думая, что она хочет заговорить со мною, но стесняется, я ободряюще улыбнулась ей.

Но она вдруг фыркнула, покраснела и в тот же миг повернулась ко мне спиной.

Я поняла по этому движению девочки, что она сердится на меня за что-то, и решила оставить ее в покое.

6. Горбунья. — Новый враг

Когда мы вошли в столовую, над длинным обеденным столом горела люстра, ярко освещая комнату.

Вся семья уже сидела за обедом. Тетя Нелли указала мне место около Матильды Францевны, которая, таким образом, очутилась между мною и Ниночкой, приютившейся около матери. Напротив нас сидели дядя Мишель и оба мальчика.

Подле меня оказался еще один незанятый прибор. Этот прибор невольно привлек мое внимание.

«Разве в семье Икониных есть еще кто-нибудь?» — подумала я.

И как бы в подтверждение моих мыслей дядя взглянул на пустой прибор недовольными глазами и спросил у тети:

— Опять наказана? Да?

— Должно быть! — пожалала та плечами.

Дядя хотел еще спросить что-то, но не успел, потому что как раз в это время в передней прозвенел такой оглушительный звонок, что тетя Нелли невольно зажала себе уши, а Матильда Францевна на целые пол-аршина подпрыгнула на стуле.

— Отвратительная девчонка! Сколько раз ей сказано не трезвонить так! — произнесла тетя сердитым голосом и обернулась к дверям.

Я посмотрела туда же. На пороге столовой стояла маленькая безобразная фигурка с приподнятыми плечами и длинным бледным лицом. Лицо было такое же безобразное, как и фигурка. Длинный крючковатый нос, тонкие бледные губы, нездоровый цвет кожи и густые черные брови на низком, упрямом лбу. Единственно, что было красиво в этом недетски суровом и недоброе старообразном личике, — так это одни глаза. Большие, черные, умные и пронизательные, они горели, как два драгоценных камня, и сверкали, как звезды, на худеньком бледном лице.

Когда девочка повернулась немного, я тотчас заметила огромный горб за ее плечами.

Бедная, бедная девочка! Так вот почему у нее такое измученное бледное личико, такая жалкая обезображенная фигурка!

Мне стало до слез жалко ее. Покойная мамочка учила меня постоянно любить и жалеть калек, обиженных судьбою. Но, очевидно, никто, кроме меня, не жалел маленькую горбуню. По крайней мере, Матильда Францевна окинула ее с головы до ног сердитым взглядом и спросила, ехидно поджимая свои синие губы:

— Опять изволили быть наказаны?

А тетя Нелли вскользь взглянула на горбуню и бросила мимоходом:

— Сегодня опять без пирожного. И в последний раз запрещаю тебе так трезвонить. Нечего на ни в чем не повинных вещах показывать свой прелестный характер. Когда-нибудь оборвешь звонок. Злючка!

Я взглянула на горбуню. Я была уверена, что она покраснеет, смутится, что на глаза ее набегут слезы. Но ничуть не бывало! Она с самым равнодушным видом подошла к матери и поцеловала у нее руку, потом направилась к отцу и чмокнула его кое-как в щеку. С братьями, сестрой и гувернанткой она и не думала здороваться. Меня как бы не заметила совсем.

— Жюли! — обратился к горбатой девочке дядя, как только она уселась на незанятое место по соседству со мною. — Разве ты не видишь, что у нас гостя? Поздоровайся же с Леной. Она твоя кузина.

Маленькая горбуня подняла глаза от тарелки с супом, за который она принялась было с большою жадностью, и посмотрела на меня как-то боком, вскользь.

Господи! Что за глаза это были! Злые, ненавидящие, угрожающие, суровые, как у голодного волчонка, которого затравили охотники... Точно я была ее давнишним и злейшим врагом, которого она ненавидела всей душой. Вот что выражали черные глаза горбатой девочки...

Когда подали сладкое — что-то красивое, розовое и пышное, в виде башенки, на большом фарфоровом блюде, — тетя Нелли повернула к лакею свое холодное красивое лицо и проговорила строго:

— Старшая барышня сегодня без пирожного.

Я взглянула на горбуню. Ее глаза загорелись злыми огоньками, и без того бледное

лицо побледнело еще больше.

Матильда Францевна положила мне на тарелку кусочек пышной розовой башенки, но есть сладкое я не могла, потому что в упор на меня с завистью и злобой смотрели два жадных черных глаза.

Мне показалось невозможным есть свою порцию, когда моя соседка была лишена сладкого, и я решительно отодвинула от себя тарелку и тихо шепнула, наклонившись в сторону Жюли:

— Не волнуйтесь, пожалуйста, я тоже не буду кушать.

— Отвяжитесь! — буркнула она чуть слышно, но с еще большим выражением злобы и ненависти в глазах.

Когда обед кончился, все вышли из-за стола. Дядя и тетя тотчас же поехали куда-то, а нас, детей, отправили в классную — огромную комнату подле детской.

Жорж тотчас же исчез куда-то, сказав мимоходом Матильде Францевне, что идет учить уроки. Жюли последовала его примеру. Нина и Толя затеяли какую-то шумную игру, не обращая никакого внимания на мое присутствие.

— Елена, — услышала я за собою знакомый мне неприятный голос, — ступай в твою комнату и разбери твои вещи. Вечером будет поздно. Ты сегодня раньше должна лечь спать: завтра пойдешь в гимназию.

В гимназию?

Полно, не ослышалась ли я? Меня отдадут в гимназию? Я готова была запрыгать от радости. Хотя мне пришлось всего только два часа провести в семье дяди, но я уже поняла всю тяжесть предстоящей мне жизни в этом большом, холодном доме в обществе сердитой гувернантки и злых двоюродных братьев и сестриц. Немудрено поэтому, что я так обрадовалась известию о поступлении в гимназию, где, наверное, меня не встретят так, как здесь. Ведь там было не две, а может быть, тридцать две девочки-сверстницы, между которыми, конечно, найдутся и хорошие, милые дети, которые не будут меня так обижать, как эта надутая, капризная Ниночка и злая, угрюмая и грубая Жюли. И потом, там, наверное, не будет такой сердитой клетчатой дамы, как Матильда Францевна...

Мне даже на душе веселее как-то стало от этого известия, и я побежала разбирать свои вещи, исполняя приказание гувернантки. Я даже не обратила особенного внимания на брошенное мне вслед замечание Ниночки, обращенное к брату:

— Смотри, смотри, Толя, наша Мокрица — уже не Мокрица больше, а настоящая коза в сарафане.

На что Толя заметил:

— Верно, она в платье своей мамы. Точно мешок!

Стараясь не слушать, что они говорят, я поторопилась уйти от них.

Миновав коридор и какие-то две-три не такие большие и не такие светлые комнаты, из которых одна, должно быть, была спальня, а другая уборная, я вбежала в детскую, в ту самую комнату, куда Ниночка водила меня мыть руки перед обедом.

— Где мой чемоданчик, не можете ли вы сказать? — вежливо обратилась я с вопросом к молоденькой горничной, стлавшей на ночь постели.

У нее было доброе румяное лицо, которое приветливо мне улыбалось.

— Нет, нет, барышня, вы не здесь спать будете, — сказала горничная, — у вас комнатка совсем особенная будет; генеральша так приказала.

Я не сразу сообразила, что генеральша — это тетя Нелли, но тем не менее попросила горничную показать мою комнату.

— Третья дверь направо по коридору, в самом конце, — охотно пояснила она, и мне показалось, что глаза девушки с ласкою и грустью остановились на мне, когда она сказала: — Жаль мне вас, барышня, трудно вам у нас будет. Дети у нас злючки, прости Господи! — И она сокрушенно вздохнула и махнула рукой.

Я выбежала из спальни с сильно бьющимся сердцем.

Первая... вторая... третья... считала я двери, выходявшие в коридор. Вот она — третья

дверь, о которой говорила девушка. Я не без волнения толкаю ее... и передо мною маленькая, крошечная комнатка в одно окно. У стены узкая кровать, простой рукомойник и комод. Но не это обратило мое внимание. Посреди комнаты лежал мой раскрытый чемоданчик, а вокруг него на полу валялось мое белье, платья и все мое нехитрое имущество, которое так заботливо укладывала Марьюшка, собирая меня в дорогу. А над всеми моими сокровищами сидела горбатая Жюли и бесцеремонно рылась на дне чемоданчика.

Увидев это, я так растерялась, что не могла произнести ни слова в первую минуту. Молча стояла я перед девочкой, не находя, что ей сказать. Потом, сразу оправившись и встряхнувшись, я произнесла дрожащим от волнения голосом:

— И не стыдно вам трогать то, что вам не принадлежит?

— Не твое дело! — оборвала она меня грубо.

В это время рука ее, безостановочно шарившая на дне чемодана, схватила завернутый в бумагу и тщательно перевязанный ленточкой пакетик. Я знала, что это был за пакетик, и со всех ног бросилась к Жюли, стараясь вырвать его из ее рук. Но не тут-то было. Горбунья была куда проворнее и быстрее меня. Она высоко подняла руку со свертком над головою и в один миг вскочила на стол, стоявший посреди комнаты. Тут она быстро развернула сверток, и в ту же минуту из-под бумаги выглянула старенькая, но красивая коробочка-несессер, которою всегда пользовалась при работе покойная мамочка и которую почти накануне своей смерти подарила мне. Я очень дорожила этим подарком, потому что каждая вещица в этой коробке напоминала мне мою дорогую. Я обращалась так осторожно с коробочкой, точно она была сделана из стекла и могла разбиться каждую минуту. Потому мне было очень тяжело и больно видеть, как бесцеремонно рылась в ней Жюли, швыряя на пол каждую вещицу из несессера.

— Ножницы... игольник... наперсток... протыкалочка... — перебирала она, то и дело выбрасывая одну вещь за другою. — Отлично, все есть... Целое хозяйство... А это что? — И она схватила маленький портрет мамочки, находившийся на дне несессера.

Я тихо вскрикнула и бросилась к ней.

— Послушайте... — зашептала я, вся дрожа от волнения, — ведь это нехорошо... вы не смеете... Это не ваши... а мои вещи... Нехорошо брать чужое...

— Отвяжись... Не ной!.. — прикрикнула на меня горбунья и вдруг зло, жестко рассмеялась мне в лицо. — А хорошо от меня отнимать было... а? Что ты скажешь на это? — задыхаясь от злобы, прошептала она.

— Отнимать? У вас? Что могу я отнять у вас? — пораженная до глубины души, воскликнула я.

— Ага, не знаешь разве? Скажите пожалуйста, невинность какая! Так я тебе и поверила! Держи карман шире! Противная, скверная, нищая девчонка! Уж лучше бы ты не приезжала. Без тебя легче бы было. Все-таки мне раньше не так попадало, потому что я жила отдельно, не с противной Нинкой, маминой любимицей, и у меня был свой уголок. А тут... ты приехала, и меня в детскую к Нинке и к Баварии перевели... У-у! Как я ненавижу тебя за это, гадкая, противная! Тебя, и твой несессер, и все, и все!

И говоря это, она широко размахнулась рукою с маминым портретом, очевидно желая отправить его туда же, где уже нашли себе место игольник, ножницы и хорошенький серебряный наперсток, которым очень дорожила покойная мамочка.

Я вовремя схватила ее за руку.

Тогда горбунья изловчилась и, быстро наклонившись к моей руке, изо всех сил укусила меня за палец.

Я громко вскрикнула и отступила назад.

В ту же минуту дверь широко распахнулась, и Ниночка стремглав влетела в комнату.

— Что? Что такое? — подскочила она ко мне и тут же, заметя портрет в руках сестры, закричала, нетерпеливо топая ногою: — Что это у тебя? Сейчас покажи! Покажи сию минуту! Жюлька, покажи!

Но та вместо портрета показала сестре язык. Ниночка так и вскипела.

— Ах ты, дрянная горбушка! — вскричала она, бросаясь к Жюли, и прежде чем я могла удержать ее, она в одну минуту очутилась на столе рядом с нею.

— Покажи сейчас, сию минуту! — кричала она пронзительно.

— И не подумаю, с чего ты взяла, что я буду показывать? — спокойно возразила горбунья и еще выше подняла руку с портретом.

Тогда произошло что-то совсем особенное. Ниночка подпрыгнула на столе, желая выхватить вещицу из рук Жюли, стол не выдержал тяжести обеих девочек, ножка его подвернулась, и обе они с оглушительным шумом полетели вместе со столом на пол.

Крик... стон... слезы... вопли.

У Нины кровь льет ручьем из носа и капает на розовый кушак и белое платье. Она кричит на весь дом, захлебываясь слезами...

Жюли присмирела. У нее тоже ушиблены рука и колено. Но она молчит и только втихомолку кряхтит от боли.

На пороге комнаты появляются Матильда Францевна, Федор, Дуняша, Жорж и Толя.

— Остроумно! — тянет Жорж по своему обыкновению.

— Что? Что случилось? — кричит Матильда Францевна, бросаясь почему-то ко мне и тряся меня за руку.

Я с удивлением смотрю в ее круглые глаза, не чувствуя ровно никакой вины за собою. И вдруг взгляд мой встречается со злым, горящим, как у волчонка, взором Жюли. В ту же минуту девочка подходит к гувернантке и говорит:

— Матильда Францевна, накажите Лену. Она прибила Ниночку.

Что такое?.. Я едва верю своим ушам.

— Я? Я прибила? — повторяю я эхом.

— А скажешь — не ты? — резко закричала на меня Жюли. — Смотри, у Нины кровь идет носом.

— Велика важность — кровь! Три капельки только, — произнес с видом знатока Жорж, внимательно расследуя припухший нос Нины. — Удивительные эти девчонки, право! И подрасться-то как следует не умеют. Три капли! Остроумно, нечего сказать!

— Да это неправда все! — начала было я и не докончила моей фразы, так как костлявые пальцы впились мне в плечо и Матильда Францевна потащила меня куда-то из комнаты.

7. Страшная комната. — Черная птица

Сердитая немка протащила меня через весь коридор и втолкнула в какую-то темную и холодную комнату.

— Сиди здесь, — злобно крикнула она, — если не умеешь вести себя в детском обществе!

И вслед за этим я услышала, как щелкнула снаружи задвижка двери, и я осталась одна.

Мне ни чуточки не было страшно. Покойная мамочка приучила меня не бояться ничего. Но тем не менее неприятное ощущение остаться одной в незнакомой холодной темной комнате давало себя чувствовать. Но еще более я чувствовала обиду, жгучую обиду на злых, жестоких девочек, наклеветавших на меня.

— Мамочка! Родная моя мамулечка, — шептала я, крепко сжимая руки, — зачем ты умерла, мамочка! Если бы ты осталась со мною, никто бы не стал мучить твою бедную Ленушу.

И слезы невольно текли из моих глаз, а сердце билось сильно-сильно...

Понемногу глаза мои стали привыкать к темноте, и я могла уже различать окружающие меня предметы: какие-то ящики и шкапы по стенам. Вдали смутно белело окошко. Я шагнула к нему, как вдруг какой-то странный шум привлек мое внимание. Я невольно остановилась и подняла голову. Что-то большое, круглое, с двумя горящими во тьме точками

приближалось ко мне по воздуху. Два огромных крыла отчаянно хлопали над моим ухом. Ветром пахнуло мне в лицо от этих крыльев, а горящие точки так и приближались с каждой минутой ко мне.

Я отнюдь не была трусихой, но тут невольный ужас сковал меня. Вся дрожала от страха, я ждала приближения чудовища. И оно приблизилось.

Два блестящих круглых глаза смотрели на меня минуту, другую, и вдруг — что-то сильно ударило меня по голове...

Я громко вскрикнула и без чувств грохнулась на пол.

— Скажите, какие нежности! Из-за всякого пустяка — хлоп в обморок! Неженка какая! — услышала я грубый голос, и, с усилием открыв глаза, я увидела перед собой ненавистное лицо Матильды Францевны.

Теперь это лицо было бледно от испуга, и нижняя губа Баварии, как ее называл Жорж, нервно дрожала.

— А где же чудовище? — в страхе прошептала я.

— Никакого чудовища и не было! — фыркнула гувернантка, — не выдумывай, пожалуйста. Или ты уж так глупа, что принимаешь за чудовище обыкновенную ручную сову Жоржа? Филька, иди сюда, глупая птица! — позвала она тоненьким голосом.

Я повернула голову и при свете лампы, должно быть принесенной и поставленной на стол Матильдой Францевной, увидела огромного филина с острым хищным носом и круглыми глазами, горевшими вовсю...

Птица смотрела на меня, наклонив голову набок, с самым живым любопытством. Теперь, при свете лампы и в присутствии гувернантки, в ней не было ничего страшного. По крайней мере, Матильде Францевне, очевидно, она вовсе не казалась страшной, потому что она, обращаясь ко мне, заговорила спокойным голосом, никакого внимания не обращая на птицу:

— Слушай, ты, скверная девчонка, — на этот раз я тебя прощаю, но смей мне только еще раз обидеть кого-нибудь из детей. Тогда я высеку тебя без сожаления... Слышишь?

Высечь! Меня — высечь?

Покойная мамочка никогда даже не повышала на меня голоса и была постоянно довольна своей Ленушей, а теперь... Мне грозят розгами! И за что?.. Я вздрогнула всем телом и, оскорбленная до глубины души словами гувернантки, шагнула к двери.

Но несносный голос Баварии снова остановил меня.

— Ты, пожалуйста, не вздумай насплетничать дяде, что испугалась ручной совы и грохнулась в обморок, — сердито, обрывая каждое слово, говорила немка. — Ничего нет страшного в этом, и только такая дурочка, как ты, могла испугаться невинной птицы. Ну, нечего мне с тобой разговаривать больше... Марш спать!

Мне оставалось только повиноваться.

После нашей уютной рыбинской спальни какой неприятной показалась мне каморка Жюли, в которой я должна была поселиться!

Бедная Жюли! Вероятно, ей не пришлось устроиться более удобно, если она пожалела для меня своего убогого уголка. Нелегко, должно быть, ей живется, убогой бедняге!

И, совершенно позабыв о том, что ради этой «убогой бедняги» меня заперли в комнату с совою и обещали высечь, я жалела ее всею душою.

Раздевшись и помолясь Богу, я улеглась на узенькую неудобную кроватку и накрылась одеялом. Мне было очень странно видеть и эту убогую постель, и старенькое одеяло в роскошной обстановке моего дяди. И вдруг смутная догадка мелькнула в моей голове, почему у Жюли бедная каморка и плохонькое одеяло, тогда как у Ниночки нарядные платьица, красивая детская и много игрушек. Мне невольно припомнился взгляд тети Нелли, каким она взглянула на горбунью в минуту ее появления в столовой, и глаза той же тети, обращенные на Ниночку с такой лаской и любовью.

И я теперь разом поняла все: Ниночку любят и балуют в семье за то, что она живая, веселая и хорошенькая, а бедную калеку Жюли не любит никто.

«Жюлька», «злючка», «горбушка» — припомнились мне невольно названия, данные ей ее сестрою и братьями.

Бедная Жюли! Бедная маленькая калека! Теперь я окончательно простила маленькой горбунье ее выходку со мною. Мне было бесконечно жаль ее.

Неприменно подружусь с нею, решила я тут же, докажу ей, как нехорошо клеветать и лгать на других, и постараюсь приласкать ее. Она, бедняжка, не видит ласки! А мамочке как хорошо будет там, на небе, когда она увидит, что ее Ленуша отплатила лаской за вражду.

И с этим добрым намерением я уснула.

Мне снилась в эту ночь огромная черная птица с круглыми глазами и лицом Матильды Францевны. Птицу звали Баварией, и она ела розовую пышную башенку, которую подавали на третье к обеду. А горбатенькая Жюли непременно хотела высечь черную птицу за то, что она не желала занять место кондуктора Никифора Матвеевича, которого произвели в генералы.

8. В гимназии. — Неприятная встреча. — Я — гимназистка

— Вот вам новая ученица, Анна Владимировна. Предупреждаю, девочка из рук вон плоха. Возни вам будет достаточно с нею. Лжива, груба, драчлива и непослушна. Наказывайте ее почаще. Frau Generalin (генеральша) ничего не будет иметь против.

И, закончив свою длинную речь, Матильда Францевна окинула меня торжествующим взглядом.

Но я не смотрела на нее. Все мое внимание привлекала к себе высокая стройная дама в синем платье, с орденом на груди, с белыми как лунь волосами и молодым, свежим, без единой морщинки лицом. Ее большие ясные, как у ребенка, глаза смотрели на меня с нескрываемой грустью.

— Ай-ай-ай, как нехорошо, девочка! — произнесла она, покачивая своей седой головою.

И лицо ее в эту минуту было такое же кроткое и ласковое, как у моей мамочки. Только моя мамочка была совсем черненькая, как мушка, а синяя дама вся седая. Но лицом она казалась не старше мамочки и странно напоминала мне мою дорогую.

— Ай-ай-ай! — повторила она без всякого гнева. — И не стыдно тебе, девочка?

Ах, как мне было стыдно! Мне хотелось заплакать — так мне было стыдно. Но не от сознания своей виновности — я не чувствовала никакой вины за собою, — а потому только, что меня оклеветали перед этой милой ласковой начальницею гимназии, так живо напомнившей мне мою мамочку.

Мы все трое, Матильда Францевна, Жюли и я, пришли в гимназию вместе. Маленькая горбунья побежала в классы, а меня задержала начальница гимназии, Анна Владимировна Чирикова. Ей-то и рекомендовала меня злая Бавария с такой нелестной стороны.

— Верите ли, — продолжала Матильда Францевна рассказывать начальнице, — всего только сутки как водворили у нас в доме эту девочку, — тут она мотнула головою в мою сторону, — а уже столько она набедокурила, что сказать нельзя!

И начался долгий перечет всех моих проделок. Тут уж я не выдержала больше. Слезы разом навернулись мне на глаза, я закрыла лицо руками и громко зарыдала.

— Дитя! Дитя! Что с тобою? — послышался надо мной милый голос синей дамы. — Слезы тут не помогут, девочка, надо стараться исправиться... Не плачь же, не плачь! — И она нежно гладила меня по головке своей мягкой белой рукою.

Не знаю, что случилось со мною в эту минуту, но я быстро схватила ее руку и поднесла к губам. Начальница смешалась от неожиданности, потом быстро обернулась в сторону Матильды Францевны и сказала:

— Не беспокойтесь, мы поладим с девочкой. Передайте генералу Иконину, что я принимаю ее.

— Но помните, уважаемая Анна Владимировна, — скривив многозначительно губы,

произнесла Бавария, — Елена заслуживает строгого воспитания. Как можно чаще наказывайте ее.

— Я не нуждаюсь ни в чьих советах, — холодно проговорила начальница, — у меня своя собственная метода воспитывать детей.

И чуть заметным кивком головы она дала понять немке, что она может оставить нас одних.

Бавария нетерпеливым жестом одернула свою клетчатую тальму и, погрозив мне многозначительно пальцем на прощанье, исчезла за дверью.

Когда мы остались вдвоем, моя новая покровительница подняла мою голову и, держа мое лицо своими нежными руками, проговорила тихим, в душу вливающимся голосом:

— Я не могу верить, девочка, чтобы ты была такою.

И снова глаза мои наполнились слезами.

— Нет, нет! Я не такая, нет! — вырвалось со стоном и криком из моей груди, и я, рыдая, бросилась на грудь начальницы.

Она дала мне время выплакаться хорошенько, потом, поглаживая меня по голове, заговорила:

— Ты поступишь в младший класс. Экзаменовывать тебя теперь не будем; дадим тебе оправиться немного. Сейчас ты пойдешь в класс знакомиться с твоими новыми подругами. Я не стану провожать тебя, ступай одна. Дети сближаются лучше без помощи старших. Постарайся быть умницей, и я буду любить тебя. Хочешь, чтобы я тебя любила, девочка?

— О-о! — могла только выговорить я, глядя с восхищением в ее кроткое, прекрасное лицо.

— Ну, смотри же, — покачала она головою, — а теперь ступай в класс. Твое отделение первое направо по коридору. Торопись, учитель уже пришел.

Я молча поклонилась и пошла к дверям. У порога я оглянулась, чтобы еще раз увидеть милое молодое лицо и седые волосы начальницы. И она смотрела на меня.

— Ступай с Богом, девочка! Твоя кузина Юлия Иконина познакомит тебя с классом.

И кивком головы госпожа Чирикова отпустила меня.

Первая дверь направо! Первая дверь...

Я с недоумением оглядывалась вокруг себя, стоя в длинном светлом коридоре, по обе стороны которого тянулись двери с прибитыми черными дощечками над ними. На черных дощечках написаны цифры, обозначающие название класса, находящегося за дверью.

Ближайшая дверь и черная дощечка над нею принадлежали первому, или младшему, классу. Я храбро приблизилась к двери и открыла ее.

Тридцать, или около этого числа, девочек сидят на скамейках за покатыми столиками в виде пюпитров. Их по две на каждой скамейке, и все они записывают что-то в синих тетрадках. На высокой кафедре сидит черноволосый господин в очках, с подстриженной бородою и вслух читает что-то. У противоположной стены за маленьким столиком какая-то тощая девушка, черненькая, с желтым цветом лица, с косыми глазами, вся в веснушках, с жиденькой косичкой, заложенной на затылке, вяжет чулок, быстро-быстро двигая спицами.

Лишь только я появилась на пороге, как все тридцать девочек как по команде повернули ко мне свои белокурые, черненькие и рыжие головки. Тощая барышня с косыми глазами беспокойно завертелась на своем месте. Высокий господин с бородою, в очках, сидевший за отдельным столом на возвышении, пристальным взором окинул меня с головы до ног и произнес, обращаясь ко всему классу и глядя вверх очков:

— Новенькая?

И рыженькие, и черненькие, и беленькие девочки прокричали хором на разные голоса:

— Новенькая, Василий Васильевич!

— Иконина-вторая!

— Сестра Юлии Икониной.

— Вчера только приехала из Рыбинска.

— Из Костромы!

— Из Ярославля!

— Из Иерусалима!

— Из Южной Америки!

— Молчать! — кричала, надрываясь, тощая барышня в синем платье.

Учитель, которого дети называли Василием Васильевичем, зажал уши, потом разжал их и спросил:

— А кто из вас может сказать, когда благовоспитанные девицы бывают курицами?

— Когда они кудахчут! — бойко ответила с передней скамейки розовенькая белокурая девочка с веселыми глазками и вздернутым пуговицеобразным носиком.

— Именно-с, — ответил учитель, — и я прошу оставить ваше кудахтанье по этому случаю. Новенькая, — обратился он ко мне, — вы сестра или кузина Икониной?

«Кузина», — хотела ответить я, но в эту минуту с одной из ближайших скамеек поднялась бледная Жюли и произнесла сухо:

— Я, Василий Васильевич, не хочу считать ее ни сестрой, ни кузиной.

— Это почему же? Почему такая немилость? — изумился тот.

— Потому что она лгунья и драчунья! — крикнула со своего места белокурая девочка с веселыми глазками.

— А вы почему знаете, Соболева? — перевел на нее глаза учитель.

— Мне Иконина говорила. И всему классу говорила то же, — бойко отвечала живая Соболева.

— Недурно! — усмехнулся учитель. — Хорошо же вы отрекомендовали кузину, Иконина. Нечего сказать! Откровенно! Да я бы на вашем месте, если бы это и было так, скрыл от подруг, что у вас кузина драчунья, а вы точно хвастаетесь этим. Стыдно выносить сор из избы! И потом... Странно, но эта худенькая девочка в траурном платье не имеет вида драчуньи. Так ли я говорю, а, Иконина-вторая?

Вопрос был обращен прямо ко мне. Я знала, что мне надо было ответить, и не могла. В странном смущении стояла я у дверей класса, упорно смотря в пол.

— Ну, хорошо, хорошо. Не смущайтесь! — ласковым голосом обратился ко мне учитель. — Садитесь на место и лишите диктовку... Жебелева, дайте тетрадку и перо новенькой. Она сядет с вами, — скомандовал учитель.

При этих словах с соседней скамейки поднялась черненькая, как мушка, девочка с маленькими глазами и тоненькой косичкой. У нее было недоброе лицо и очень тонкие губы.

— Садитесь! — довольно-таки нелюбезно бросила она в мою сторону и, подвинувшись немного, дала мне место около себя.

Учитель уткнулся в книгу, и через минуту в классе по-прежнему стало тихо.

Василий Васильевич повторял одну и ту же фразу несколько раз, и потому было очень легко писать под его диктовку. Покойная мамочка сама занималась со мною русским языком и арифметикой. Я была очень прилежна и для моих девяти лет писала довольно сносно. Сегодня же я с особенным усердием выводила буквы, стараясь угодить обласкавшему меня учителю, и очень красиво и правильно исписала целую страницу.

— Точка. Довольно. Жукова, соберите тетради, — приказал учитель.

Худенькая востроносенькая девочка, моя сверстница, стала обходить скамейки и собирать тетради в одну общую грудку.

Василий Васильевич отыскал мою тетрадку и, быстро раскрыв ее, стал просматривать прежде всех остальных тетрадей.

— Bravo, Иконина, bravo! Ни одной ошибки, и написано чисто и красиво, — произнес он веселым голосом.

В тот же миг раздался резкий голос с последней скамейки.

— Я очень стараюсь, господин учитель, не мудрено, что вы довольны моей работой! — произнесла на весь класс моя кузина Жюли.

— Ах, это вы, Иконина-первая? Нет, это не вами я доволен, а работой вашей кузины, — поторопился пояснить учитель. И тут же, увидя, как покраснела девочка, он успокоил ее: —

Ну, ну, не смущайтесь, барышня. Может быть, ваша работа еще лучше окажется.

И он быстро отыскал ее тетрадь в общей груди, поспешно раскрыл ее, пробежал написанное... и всплеснул руками, потом быстро повернул к нам тетрадку Жюли раскрытой страницей и, высоко подняв ее над головой, вскричал, обращаясь ко всему классу:

— Что это, девицы? Диктовка ученицы или шалость разрезвившегося петушка, который опустил лапку в чернила и нацарапал эти каракульки?

Вся страница тетради Жюли была испещрена крупными и мелкими кляксами. Класс смеялся. Тощая барышня, оказавшаяся, как я узнала потом, классной дамой, всплеснула руками, а Жюли стояла у своего пюпитра с угрюмо сдвинутыми бровями и злым-презлым лицом. Ей, казалось, вовсе не было стыдно — она только злилась.

А учитель между тем продолжал рассматривать исписанную каракулями страницу и считал:

— Одна... две... три ошибки... четыре... пять... десять... пятнадцать... двадцать... Недурно, в десяти строках — двадцать ошибок. Стыдитесь, Иконина-первая! Вы старше всех и пишете хуже всех. Берите пример с вашей младшей кузины! Стыдно, очень стыдно!

Он хотел сказать еще что-то, но в эту минуту прозвучал звонок, извещающий об окончании урока.

Все девочки разом встрепенулись и повскакали с мест. Учитель сошел с кафедры, поклонился классу в ответ на дружное приседание девочек, пожал руку классной даме и исчез за дверью.

9. Травля. — Японка. — Единица

— Ты, как тебя, Дракуньина!..

— Нет, Лгунишкина...

— Нет, Крикунова...

— Ах, просто она Подлизова!

— Да, да, именно Подлизова... Отвечай же, как тебя зовут?

— Сколько тебе лет?

— Ей лет, девочки, много! Ей сто лет. Она бабушка! Видите, какая она сторбившаяся да съездившаяся. Бабушка, бабушка, где твои внуки?

И веселая, живая как ртуть Соболева изо всей силы дернула меня за косичку.

— Ай! — невольно вырвалось у меня.

— Ага! Знаешь, где птичка «ай» живет! — захохотала во весь голос шалунья, в то время как другие девочки плотным кругом обступили меня со всех сторон. У всех у них были недобрые лица. Черные, серые, голубые и карие глазки смотрели на меня, поблескивая сердитыми огоньками.

— Да что это, язык у тебя отнялся, что ли, — вскричала черненькая Жебелева, — или ты так заважничала, что и не хочешь говорить с нами?

— Да как же ей не гордиться: ее сам Яшка отличил! Всем нам в пример ставил. Всем старым ученицам — новенькую. Срам! Позор! Осрамил нас Яшка! — кричала хорошенькая бледная хрупкая девочка по фамилии Ивина — отчаяннейшая шалунья в классе и сорвиголова, как я узнала впоследствии.

— Срам! Позор! Правда, Ивина! Правда! — подхватили в один голос все девочки.

— Травить Яшку! Извести его за это хорошенько! В следующий же урок затопить ему баню! — кричали в одном углу.

— Истопить баню! Непременно баню! — кричали в другом.

— Новенькая, смотри, если ты не будешь для Яшки бани топить, мы тебя изживем живо! — звенело в третьем.

Я ровно ничего не понимала, что говорили девочки, и стояла оглушенная, пришибленная. Слова «Яшка», «истопить баню», «травить» мне были совершенно непонятны.

— Только, смотри, не выдавать, не по-товарищески это! Слышишь! — подскочила ко мне толстенная, кругленькая, как шарик, девочка, Женечка Рош. — А то берегись!

— Берегись! Берегись! Если выдашь, мы тебя сами травить будем! Смотри!

— Неужели, мадамочки, вы думаете, что она не выдаст? Ленка-то? Да она вас всех с головой подведет, чтобы самой отличиться. Вот, мол, я какая умница, одна среди них!

Я подняла глаза на говорившую. По бледному лицу Жюли было видно, что она злилась. Глаза ее злобно горели, губы кривились.

Я хотела ей ответить и не могла. Девочки со всех сторон надвинулись на меня, крича и угрожая. Лица их разгорелись. Глаза сверкали.

— Не смей выдавать! Слышишь? Не смей, а то мы тебе покажем, гадкая девчонка! — кричали они.

Новый звонок, призывающий к классу арифметики, заставил их живо отхлынуть и занять свои места. Только шалуныя Ивина никак не хотела уgomониться сразу.

— Госпожа Драчуникова, извольте садиться. Тут не полагается колясок, которые отвезли бы вас на ваше место! — кричала она.

— Ивина, не забывайте, что вы в классе, — прозвучал резкий голос классной дамы.

— Не забуду, мадемуазель! — самым невинным тоном произнесла шалуныя и потом добавила как ни в чем не бывало: — Это неправда ведь, мадемуазель, что вы японка и приехали к нам сюда прямо из Токио?

— Что? Что такое? — так и подскочила на месте тощая барышня. — Как ты смеешь говорить так?

— Нет, нет, вы не беспокойтесь, мадемуазель, я также знаю, что неправда. Мне сегодня до урока старшая воспитанница Окунева говорит: «Знаешь, Ивушка, ведь ваша Зоя Ильинишна — японская шпионка, я это знаю наверное... и...»

— Ивина, не дерзи!

— Ей-богу же, это не я сказала, мадемуазель, а Окунева из первого класса. Вы ее и браните. Она говорила еще, что вас сюда прислали, чтобы...

— Ивина! Еще одно слово — и ты будешь наказана! — окончательно вышла из себя классная дама.

— Да ведь я повторяю только то, что Окунева говорила. Я молчала и слушала...

— Ивина, становись к доске! Сию же минуту! Я тебя наказываю.

— Тогда и Окуневу тоже накажите. Она говорила, а я слушала. Нельзя же наказывать за то только, что человеку даны уши... Господи, какие мы несчастные, право, то есть те, которые слышат, — не унималась шалуныя, в то время как остальные девочки фыркали от смеха.

Дверь широко распахнулась, и в класс ввалился кругленький человечек с огромным животом и с таким счастливым выражением лица, точно ему только что довелось узнать что-то очень приятное.

— Ивина сторожит доску! Прекрасно! — произнес он, потирая свои пухлые маленькие ручки. — Опять нашалила? — лукаво прищуриваясь, произнес кругленький человечек, которого звали Адольфом Ивановичем Шарфом и который был учителем арифметики в классе маленьких.

— Я наказана за то только, что у меня есть уши и что я слышу то, что не нравится Зое Ильинишне, — капризным голосом протянула шалуныя Ивина, делая вид, как будто она плачет.

— Скверная девчонка! — произнесла Зоя Ильинишна, и я видела, как она вся дрожала от волнения и гнева.

Мне было сердечно жаль ее. Правда, она не казалась ни доброй, ни симпатичной, но и Ивина отнюдь не была добра: она мучила бедную девушку, и мне было очень жаль последнюю.

Между тем кругленький Шарф задал нам арифметическую задачу, и весь класс принялся за нее. Потом он вызывал девочек по очереди к доске до окончания урока.

Следующий класс был батюшкин. Строгий на вид, даже суровый, священник говорил отрывисто и быстро. Было очень трудно поспевать за ним, когда он рассказывал о том, как Ной построил ковчег и поплыл со своим семейством по огромному океану, в то время как все остальные люди погибли за грехи. Девочки невольно присмирели, слушая его. Потом батюшка стал вызывать девочек по очереди на середину класса и спрашивать заданное.

Была вызвана и Жюли.

Она стала вся красная, когда батюшка назвал ее фамилию, потом побледнела и не могла произнести ни слова.

Жюли не выучила урока.

Батюшка взглянул на Жюли, потом на журнал, который лежал перед ним на столе, затем обмакнул перо в чернила и поставил Жюли жирную, как червяк, единицу.

— Стыдно плохо учиться, а еще генеральская дочка! — сердито произнес батюшка.

Жюли присмирела.

В двенадцать часов дня урок закона Божия кончился, и началась большая перемена, то есть свободное время до часу, в которое гимназистки завтракали и занимались чем хотели. Я нашла в своей сумке бутерброд с мясом, приготовленный мне заботливой Дуняшей, единственным человеком, который хорошо относился ко мне. Я ела бутерброд и думала, как мне тяжело будет жить на свете без мамочки и почему я такая несчастная, почему я не сумела сразу заставить полюбить меня и почему девочки были такие злые со мною.

Впрочем, во время большой перемены они так занялись своим завтраком, что забыли обо мне. Ровно в час пришла француженка, мадемуазель Меркуа, и мы читали с нею басни. Потом худой, как вешалка, длинный немецкий учитель делал нам немецкую диктовку — и только в два часа звонок возвестил нам, что мы свободны.

Как стая встряхнувшихся птичек, бросился весь класс врассыпную к большой прихожей, где девочек ждали уже их матери, сестры, родственницы или просто прислуга, чтобы вести домой.

За нами с Жюли явилась Матильда Францевна, и под ее начальством мы отправились домой.

10. Филька пропал. — Меня хотят наказать

Опять зажгли громадную висячую люстру в столовой и поставили свечи на обоих концах длинного стола. Опять неслышно появился Федор с салфеткой в руках и объявил, что кушать подано. Это было на пятый день моего пребывания в доме дяди. Тетя Нелли, очень нарядная и очень красивая, вошла в столовую и заняла свое место. Дяди не было дома: он должен был сегодня приехать очень поздно. Все мы собрались в столовой, только Жоржа не было.

— Где Жорж? — спросила тетя, обращаясь к Матильде Францевне.

Та ничего не знала.

И вдруг, в эту самую минуту, Жорж как ураган ворвался в комнату и с громкими криками бросился на грудь матери.

Он ревел на весь дом, всхлипывая и причитая. Все его тело вздрагивало от рыданий. Жорж умел только дразнить сестер и брата и «остроумить», как говорила Ниночка, и потому было ужасно странно видеть его самого в слезах.

— Что? Что такое? Что случилось с Жоржем? — спрашивали все в один голос.

Но он долго не мог успокоиться.

Тетя Нелли, которая никогда не ласкала ни его, ни Толю, говоря, что мальчикам ласка не приносит пользы, а что их следует держать строго, в этот раз нежно обняла его за плечи и притянула к себе.

— Что с тобою? Да говори же, Жоржик! — самым ласковым голосом просила она сына.

Несколько минут еще продолжалось всхлипывание. Наконец Жорж выговорил с большим трудом прерывающимся от рыданий голосом:

— Филька пропал... мама... Филька...

— Как? Что? Что такое?

Все разом заахали и засуетились. Филька — это был не кто иной, как сова, напугавшая меня в первую ночь моего пребывания в доме дяди.

— Филька пропал? Как? Каким образом?

Но Жорж ничего не знал. И мы знали не больше его. Филька жил всегда, со дня своего появления в доме (то есть с того дня, как дядя привез его однажды, возвратившись с пригородной охоты), в большой кладовой, куда входили очень редко, в определенные часы и куда сам Жорж являлся аккуратно два раза в день, чтобы кормить Фильку сырым мясом и поддрессировать его на свободе. Он просиживал долгие часы в гостях у Фильки, которого любил, кажется, гораздо больше родных сестер и брата. По крайней мере, Ниночка уверяла всех в этом.

И вдруг — Филька пропал!

Тотчас после обеда все принялись за поиски Фильки. Только Жюли и меня отправили в детскую учить уроки.

Лишь только мы остались одни, Жюли сказала:

— А я знаю, где Филька!

Я подняла на нее глаза, недоумевая.

— Я знаю, где Филька! — повторила горбунья. — Это хорошо... — неожиданно заговорила она, задыхаясь, что с нею было постоянно, когда она волновалась, — это очень даже хорошо. Жорж мне сделал гадость, а у него пропал Филька... Очень, очень даже хорошо!

И она торжествующе хихикала, потирая руки.

Тут мне разом припомнилась одна сцена — и я поняла все.

В тот день, когда Жюли получила единицу за закон Божий, дядя был в очень дурном настроении. Он получил какое-то неприятное письмо и ходил бледный и недовольный весь вечер. Жюли, боясь, что ей достанется больше, нежели в другом случае, попросила Матильду Францевну не говорить в этот день о ее единице, и та обещала. Но Жорж не выдержал и нечаянно или нарочно объявил во всеуслышание за вечерним чаем:

— А Жюли получила кол из закона Божия!

Жюли наказали. И в тот же вечер, ложась спать, Жюли погрозила кому-то кулаками, лежа уже в постели (я зашла в эту минуту случайно в их комнату), и сказала:

— Ну, уж я ему припомню за это. Он у меня попляшет!..

И она припомнила — на Фильке. Филька исчез. Но как? Как и куда могла маленькая двенадцатилетняя девочка спрятать птицу — этого я угадать не могла.

— Жюли! Зачем ты сделала это? — спросила я, когда мы вернулись в классную после обеда.

— Что сделала? — так и встрепенулась горбунья.

— Куда ты дела Фильку?

— Фильку? Я? Я дела? — вскричала она, вся бледная и взволнованная. — Да ты с ума сошла! Я не видела Фильки. Убирайся, пожалуйста...

— А зачем же ты... — начала я и не докончила.

Дверь широко распахнулась, и Матильда Францевна, красная, как пион, влетела в комнату.

— Очень хорошо! Великолепно! Воровка! Укрывательница! Преступница! — грозно потрясая руками в воздухе, кричала она.

И прежде чем я успела произнести хоть слово, она схватила меня за плечи и потащила куда-то.

Передо мною замелькали знакомые коридоры, шкапы, сундуки и корзины, стоявшие там по стенам. Вот и кладовая. Дверь широко распахнута в коридор. Там стоят тетя Нелли, Ниночка, Жорж, Толя...

— Вот! Я привела виновную! — торжествующе вскричала Матильда Францевна и

толкнула меня в угол.

Тут я увидела небольшой сундучок и в нем распростертого на дне мертвого Фильку. Сова лежала, широко распластав крылья и уткнувшись клювом в доску сундука. Должно быть, она задохнулась в нем от недостатка воздуха, потому что клюв ее был широко раскрыт, а круглые глаза почти вылезли из орбит.

Я с удивлением посмотрела на тетю Нелли.

— Что это такое? — спросила я.

— И она еще спрашивает! — вскричала, или, вернее, взвизгнула, Бавария. — И она еще осмеливается спрашивать — она, неисправимая притворщица! — кричала она на весь дом, размахивая руками, как ветряная мельница своими крыльями.

— Я ни в чем не виновата! Уверю вас! — произнесла я тихо.

— Не виновата! — произнесла тетя Нелли и прищурила на меня свои холодные глаза. — Жорж, кто, по-твоему, спрятал сову в ящик? — обратилась она к старшему сыну.

— Конечно, Мокрица, — произнес он уверенным голосом. — Филька напугал ее тогда ночью!.. И вот она в отместку за это... Очень остроумно... — И он снова захныкал.

— Конечно, Мокрица! — подтвердила его слова Ниночка.

Меня точно варом обдало. Я стояла, ровно ничего не понимая. Меня обвиняли — и в чем же? В чем я совсем, совсем не была виновата.

Один Толя молчал. Глаза его были широко раскрыты, а лицо побелело как мел. Он держался за платье своей матери и не отрываясь смотрел на меня.

Я снова взглянула на тетю Нелли и не узнала ее лица. Всегда спокойное и красивое, оно как-то подергивалось в то время, когда она говорила.

— Вы правы, Матильда Францевна. Девочка неисправима. Надо попробовать наказать ее чувствительно. Распорядитесь, пожалуйста. Пойдемте, дети, — произнесла она, обращаясь к Нине, Жоржу и Толе.

И, взяв младших за руки, вывела их из кладовой.

На минуту в кладовую заглянула Жюли. У нее было совсем уже бледное, взволнованное лицо, и губы ее дрожали, точь-в-точь как у Толи.

Я взглянула на нее умоляющими глазами.

— Жюли! — вырвалось из моей груди. — Ведь ты знаешь, что я не виновата. Скажи же это.

Но Жюли ничего не сказала, повернулась на одной ножке и исчезла за дверью.

В ту же минуту Матильда Францевна высунулась за порог и крикнула:

— Дуняша! Розог!

Я похолодела. Липкий пот выступил у меня на лбу. Что-то клубком подкатило к груди и сжало горло.

Меня? Высечь? Меня — мамочкину Леночку, которая была всегда такой умницей в Рыбинске, на которую все не нахваливались?.. И за что? За что?

Не помня себя я кинулась на колени перед Матильдой Францевной и, рыдая, покрывала поцелуями ее руки с костлявыми крючковатыми пальцами.

— Не наказывайте меня! Не бейте! — кричала я иступленно. — Ради Бога, не бейте! Мамочка никогда не наказывала меня. Пожалуйста. Умоляю вас! Ради Бога!

Но Матильда Францевна и слышать ничего не хотела. В ту же минуту просунулась в дверь рука Дуняши с каким-то отвратительным пучком. Лицо у Дуняши было все залито слезами. Очевидно, доброй девушке было жаль меня.

— А-а, отлично! — прошипела Матильда Францевна и почти вырвала розги из рук горничной. Потом подскочила ко мне, схватила меня за плечи и изо всей силы бросила на один из сундуков, стоявших в кладовой.

Голова у меня закружилась сильнее... Во рту стало горько, и как-то холодно зараз. И вдруг...

— Не смейте трогать Лену! Не смейте! — прозвенел над моей головой чей-то дрожащий голос.

Я быстро вскочила на ноги. Точно что-то подняло меня. Передо мной стоял Толя. По его детскому личику катились крупные слезы. Воротник курточки съехал в сторону. Он задыхался. Видно, что мальчик спешил сюда сломя голову.

— Мадемуазель, не смейте сечь Лену! — кричал он вне себя. — Лена сиротка, у нее мама умерла... Грех обижать сироток! Лучше меня высеките. Лена не трогала Фильку! Правда же не трогала! Ну, что хотите сделайте со мною, а Лену оставьте!

Он весь трясся, весь дрожал, все его тоненькое тельце ходуном ходило под бархатным костюмом, а из голубых глазенок текли все новые и новые потоки слез.

— Толя! Сейчас же замолчи! Слышишь, сию же минуту перестань реветь! — прикрикнула на него гувернантка.

— А вы не будете Лену трогать? — всхлипывая, прошептал мальчик.

— Не твое дело! Ступай в детскую! — снова закричала Бавария и взмахнула надо мною отвратительным пучком прутьев.

Но тут случилось то, чего не ожидали ни я, ни она, ни сам Толя: глаза у мальчика закатились, слезы разом остановились, и Толя, сильно пошатнувшись, изо всех сил грохнулся в обмороке на пол.

Поднялся крик, шум, беготня, топот.

Гувернантка бросилась к мальчику, подхватила его на руки и понесла куда-то. Я осталась одна, ничего не понимая, ни о чем не соображая в первую минуту. Я была очень благодарна милому мальчику за то, что он спас меня от позорного наказания, и в то же время я готова была быть высеченной противной Баварией, лишь бы Толя остался здоров.

Размышляя таким образом, я присела на край сундука, стоявшего в кладовой, и сама не знаю как, но сразу заснула, измученная перенесенными волнениями.

11. Маленький друг и ливерная колбаса

— Тс! Ты не спишь, Леночка?

Что такое? Я в недоумении открываю глаза. Где я? Что со мною?

Лунный свет льется в кладовую через маленькое окошко, и в этом свете я вижу маленькую фигурку, которая тихо прокрадывается ко мне.

На маленькой фигурке длинная белая сорочка, в каких рисуют ангелов, и лицо у фигурки — настоящее лицо ангелочка, беленькое-беленькое, как сахар. Но то, что фигурка принесла с собою и протягивала мне своей крошечной лапкой, никогда не принесет ни один ангел. Это что-то — не что иное, как огромный кусок толстой ливерной колбасы.

— Ешь, Леночка! — слышится мне тихий шепот, в котором я узнаю голосок моего недавнего защитника Толи. — Ешь, пожалуйста. Ты ничего еще не кушала с обеда. Я подождал, когда они все улягутся, и Бавария также, пошел в столовую и принес тебе колбасу из буфета.

— Но ведь ты был в обмороке, Толечка! — удивилась я. — Как же тебя пустили сюда?

— Никто и не думал меня пускать. Вот смешная девочка! Я сам пошел. Бавария уснула, сидя у моей постели, а я к тебе... Ты не думай... Ведь со мной часто это случается. Вдруг голова закружится, и — бух! Я люблю, когда со мною это бывает. Тогда Бавария пугается, бегают и плачет. Я люблю, когда она пугается и плачет, потому что тогда ей больно и страшно. Я ее ненавижу, Баварию, да! А тебя... тебя... — Тут шепот оборвался разом, и вмиг две маленькие заолодевшие ручонки обвили мою шею, и Толя, тихо всхлипывая и прижимаясь ко мне, зашептал мне на ухо: — Леночка! Милая! Добрая! Хорошая! Прости ты меня, ради Бога... Я был злой, нехороший мальчишка. Я тебя дразнил. Помнишь? Ах, Леночка! А теперь, когда тебя мамзелька выдрать хотела, я разом понял, что ты хорошая и ни в чем не виновата. И так мне жалко тебя стало, бедную сиротку! — Тут Толя еще крепче обнял меня и разрыдался навзрыд.

Я нежно обвила рукою его белокурую головку, посадила его к себе на колени, прижала к груди. Что-то хорошее, светлое, радостное наполнило мою душу. Вдруг все стало так легко

и отрадно в ней. Мне казалось, что сама мамочка посылает мне моего нового маленького друга. Я так хотела сблизиться с кем-нибудь из детей Икониных, но в ответ от них получала одни только насмешки и брань. Я охотно бы все простила Жюли и подружилась с нею, но она оттолкнула меня, а этот маленький болезненный мальчик сам пожелал приласкать меня. Милый, дорогой Толя! Спасибо тебе за твою ласку! Как я буду любить тебя, мой дорогой, милый!

А белокуренький мальчик говорил между тем:

— Ты прости мне, Леночка... все, все... Я хоть больной и припадочный, а все же добрее их всех, да, да! Кушай колбасу, Леночка, ты голодна. Непременно кушай, а то я буду думать, что ты все еще сердисься на меня!

— Да, да, я буду кушать, милый, милый Толя! И тут же, чтобы сделать ему удовольствие, я разделила пополам жирную, сочную ливерную колбасу, одну половину отдала Толе, а за другую принялась сама.

В жизни моей никогда не ела я ничего вкуснее! Когда колбаса была съедена, мой маленький друг протянул мне ручонку и сказал, робко поглядывая на меня своими ясными глазками:

— Так помни же, Леночка, Толя теперь твой друг!

Я крепко пожала эту запачканную ливером ручонку и тотчас же посоветовала ему идти спать.

— Ступай, Толя, — уговаривала я мальчика, — а то явится Бавария...

— И не посмеет ничего сделать. Вот! — прервал он меня. — Ведь папа раз и навсегда запретил ей волновать меня, а то у меня от волнения случаются обмороки... Вот она и не посмела. А только я все-таки пойду спать, и ты иди тоже.

Поцеловав меня, Толя зашлепал босыми ножонками по направлению к двери. Но у порога он остановился. По лицу его промелькнула плутоватая улыбка.

— Спокойной ночи! — сказал он. — Иди и ты спать. Бавария давно уж заснула. Впрочем, и совсем она не Бавария, — прибавил он лукаво. — Я узнал... Она говорит, что она из Баварии родом. А это неправда... Из Ревеля она... Ревельская килька... Вот она кто, мамзелька наша! Килька, а важничает... ха-ха-ха!

И, совсем забыв о том, что Матильда Францевна может проснуться, а с нею и все в доме, Толя с громким хохотом выбежал из кладовой.

Я тоже следом за ним отправилась в свою комнату.

От ливерной колбасы, съеденной в неурочный час и без хлеба, у меня во рту оставался неприятный вкус жира, но на душе у меня было светло и радостно. В первый раз со смерти мамочки у меня стало весело на душе: я нашла друга в холодной дядиной семье.

12. Сюрприз. — Фискалка. — Робинзон и его Пятница

На следующее утро, лишь только я проснулась, как в комнату ко мне вбежала Дуняша.

— Барышня! Сюрприз вам! Скорее одевайтесь и ступайте в кухню, пока мамзель еще не одевшись. Гости к вам! — добавила она таинственно.

— Гости? Ко мне? — удивилась я. — Кто же?

— А вот догадайтесь! — усмехнулась она лукаво, и тотчас же лицо ее приняло грустное выражение. — Жаль мне вас, барышня! — проговорила она и потупилась, чтобы скрыть слезы.

— Жаль меня? Почему, Дуняша?

— Известно почему. Обижают вас. Вот давеча Бавария... то бишь Матильда Францевна, — наскоро поправила себя девушка, — как на вас накинулась, а? Розог еще потребовала. Хорошо, что барчук вступился. Ах вы, барышня горемычная моя! — заключила добрая девушка и неожиданно обняла меня. Потом быстро смахнула передником слезы и произнесла снова веселым голосом: — А все же одевайтесь скорее. Потому сюрприз вас на кухне ждет.

Я заторопилась, и в каких-нибудь двадцать минут была причесана, умыта и помолилась Богу.

— Ну, идемте! Только, чур! Будьте поаккуратнее. Меня не выдавать! Слышите? Мамзель на кухню ходить, сами знаете, не позволяет. Так вы поаккуратнее! — весело шептала мне по пути Дуняша.

Я обещала быть «поаккуратнее» и сгорая от нетерпения и любопытства побежала на кухню.

Вот и дверь, запятнанная жиром... Вот я широко распахиваю ее — и... И правда сюрприз. Самый приятный, какого я и не ожидала.

— Никифор Матвеевич! Как я рада! — вырвалось у меня радостно.

Да, это был Никифор Матвеевич в новеньком, с иголки кондукторском кафтане, в праздничных сапогах и новом поясе. Должно быть, он умышленно принарядился получше, прежде чем прийти сюда. Около моего старого знакомого стояли хорошенькая быстроглазая девочка моих лет и высокий мальчик с умным, выразительным лицом и глубокими темными глазами.

— Здравствуйте, милая барышня, — приветливо произнес, протягивая мне руку, Никифор Матвеевич, — вот и снова свиделись. Я вас как-то случайно на улице встретил, когда вы с вашей гувернанткой и сестрицей в гимназию шли. Проследил, где вы живете, — и вот к вам и нагрянул. И Нюрку с Сергеем знакомиться привел. Да и напомнить вам, кстати, что стыдно друзей забывать. Обещались приехать к нам и не приехали. А еще у дяденьки лошади свои. Могли бы когда попросить к нам проехаться? А?

Что я могла ему ответить? Что я не только не могу попросить дать мне прокатиться, но и пикнуть не смею в доме дяди?

К счастью, меня выручила хорошенькая Нюрочка.

— А я такой точно и представляла себе вас, Леночка, когда мне про вас тятя рассказывал! — произнесла она бойко и чмокнула меня в губы.

— И я тоже! — вторил ей Сережа, протягивая мне руку.

Мне разом стало хорошо и весело с ними. Никифор Матвеевич присел на табурет у кухонного стола, Нюра и Сережа — подле него, я перед ними — и мы заговорили все разом. Никифор Матвеевич рассказывал, как по-прежнему катается на своем поезде от Рыбинска до Питера и обратно, что в Рыбинске мне все кланяются — и дома, и вокзал, и сады, и Волга, Нюрочка рассказывала, как ей легко и весело учиться в школе, Сережа хвастал, что скоро окончит училище и пойдет учиться к переплетчику переплетать книги. Все они были так дружны между собою, такие счастливые и довольные, а между тем это были бедняки, существовавшие на скромное жалованье отца и жившие где-то на окраине города в маленьком деревянном домике, в котором, должно быть, холодно и сыро подчас.

Я невольно подумала, что есть же счастливые бедняки, в то время когда богатые дети, которые не нуждаются ни в чем, как, например, Жорж и Нина, ничем никогда не бывают довольны.

— Вот, барышня, когда соскучитесь в богатстве да в холе, — словно угадав мои мысли, произнес кондуктор, — то к нам пожалуйте. Очень рады будем вас видеть...

Но тут он внезапно оборвал свою речь. Стоявшая у дверей настороже Дуняша (кроме нас и нее никого не было в кухне) отчаянно замахала руками, делая нам какой-то знак. В ту же минуту дверь растворилась, и Ниночка в своем нарядном белом платье с розовыми бантами у висков появилась на пороге кухни.

С минуту она стояла в нерешительности. Потом презрительная улыбка скривила ее губы, она прищурила глазки по своему обыкновению и протянула насмешливо:

— Вот как! У нашей Елены мужики в гостях! Нашла себе общество! Хочет быть гимназисткой и водить знакомство с какими-то мужиками... Нечего сказать!

Мне стало ужасно стыдно за мою двоюродную сестру, стыдно перед Никифором Матвеевичем и его детьми.

Никифор Матвеевич молча окинул взглядом белокурую девочку, с брезгливой

гримаской смотревшую на него.

— Ай-ай, барышня! Видно, мужиков вы не знаете, что гнушаетесь ими, — произнес он, укоризненно качая головою. — Мужика сторониться стыдно. Он и пашет, и жнет, и молотит на вас. Вы, конечно, не знаете этого, а жаль... Такая барышня — и такой несмышленочек. — И он чуть-чуть насмешливо улыбнулся.

— Как вы смеете грубить мне! — вскричала Нина и топнула ножкой.

— Не грублю я, а вас жалею, барышня! За недоумок жалею вас... — ласково ответил ей Никифор Матвеевич.

— Грубиян. Я маме пожалуюсь! — вышла из себя девочка.

— Кому угодно, барышня, я ничего не боюсь. Я правду сказал. Вы меня обидеть хотели, назвав мужиком, а я вам доказал, что добрый мужик иной куда лучше сердитой маленькой барышни...

— Не смейте говорить так! Противный! Не смейте! — выходила из себя Нина и вдруг с громким плачем бросилась из кухни в комнаты.

— Ну, беда, барышня! — вскричала Дуняша. — Теперь они мамаше побежали жаловаться.

— Ну и барышня! Я бы с ней и знаться не хотела! — неожиданно вскричала Нюра, все время безмолвно наблюдавшая эту сцену.

— Молчи, Нюрка! — ласково остановил ее отец. — Что ты смыслишь... — И вдруг неожиданно, положив мне на голову свою большую рабочую руку, он ласково погладил мои волосы и произнес: — И впрямь горемычная вы сиротинка, Леночка. С какими детьми вам приходится якшаться. Ну, да потерпите, никто, как Бог... А невоготу будет — помните, друзья у вас есть... Адресок наш не потеряли?

— Не потеряла, — шепнула я чуть слышно.

— Непременно приходи к нам, Леночка, — неожиданно произнесла Нюра и крепко поцеловала меня, — я тебя так полюбила по тятиным рассказам, так полю... —

Она не докончила своей фразы — как раз в эту минуту в кухню вошел Федор и произнес, делая строгое лицо:

— Барышня Елена Викторовна, к генеральше пожалуйте. — И широко распахнул передо мной дверь.

Я наскоро попрощалась с моими друзьями и отправилась к тете. Сердце мое, не скрою, сжималось от страха. Кровь стучала в висках.

Тетя Нелли сидела перед зеркалом в своей уборной, и старшая горничная Матреша, у которой Дуняша состояла в помощницах, причесывала ей голову.

На тете Нелли был надет ее розовый японский халат, от которого всегда так хорошо пахло духами.

При виде меня тетя сказала:

— Скажи мне на милость, кто ты, Елена, племянница твоего дяди или кухаркина дочка? В каком обществе Ниночка застала тебя на кухне! Какой-то мужик, солдат, с ребятами такими же, как он... Бог знает что! Тебя простили вчера в надежде, что ты исправишься, но исправляться, как видно, ты не желаешь. В последний раз повторяю тебе: веди себя как следует и будь благонравной, иначе...

Тетя Нелли говорила еще долго, очень долго. Ее серые глаза смотрели на меня не сердито, но так внимательно-холодно, точно я была какая-то любопытная вещица, а не маленькая Лена Иконина, ее племянница. Мне стало даже жарко под этим взглядом, и я была очень довольна, когда тетя наконец отпустила меня.

У порога за дверью я слышала, как она сказала Матреше:

— Передайте Федору, чтобы он гнал этого, как его, кондуктора и его ребят, если не хочет, чтобы мы позвали полицию... Маленькой барышне не место быть в их обществе.

«Гнать Никифора Матвеевича, Нюрочку, Сережу!» Глубоко обиженная направилась я в столовую. Еще не доходя до порога, я услышала крики и спор.

— Фискалка! Фискалка! Ябедница! — кричал, выходя из себя, Толя.

— А ты дурачок! Малыш! Неуч!..

— Так что ж! Я маленький, да знаю, что сплетничать — гадость! А ты на Леночку маме насплетничала! Фискалка ты!

— Неуч! Неуч! — пищала, выходя из себя, Ниночка.

— Молчи, сплетница! Жорж, ведь у вас в гимназии за это проучили бы здорово, а? Так бы «разыграли», что только держись! — обратился он за поддержкой к брату.

Но Жорж, который только что напихал полный рот бутербродами, промычал что-то непонятное в ответ.

В эту минуту я вошла в столовую.

— Леночка, милая! — кинулся Толя ко мне навстречу.

Жорж даже привскочил на стуле при виде, как ласковый ребенок целует и обнимает меня.

— Вот так штуkenция! — протянул он, делая большие глаза. — Собачья дружба до первой кости! Остроумно!

— Ха-ха-ха! — звонко рассмеялась Ниночка. — Вот именно — до первой кости...

— Робинзон и Пятница! — вторил ей старший брат.

— Не смей браниться! — вышел из себя Толя. — Сам-то ты противная Среда...

— Ха-ха-ха! Среда! Нечего сказать, остроумно! — заливался Жорж, добросовестно напихавши себе рот бутербродами.

— Пора в гимназию! — произнесла неслышно появившаяся на пороге Матильда Францевна.

— А все-таки не смей браниться, — погрозил Толя крошечным кулачком брату. — Ишь ты, Пятницей назвал... Какой!

— Это не брань, Толя, — поспешила я объяснить мальчику, — это такой дикий был...

— Дикий? Я не хочу быть диким! — снова заартачился мальчуган. — Не хочу, не хочу... Дикие — голые ходят и ничего не моют. Людское мясо едят.

— Нет, это был совсем особенный дикий, — поясняла я, — он не ел людей, он был верным другом одного матроса. Про него рассказ есть. Хороший рассказ. Я тебе почитаю его когда-нибудь. Мне его мама читала, и книжка у меня есть... А теперь до свидания. Будь умником. Мне в гимназию надо.

И, крепко поцеловав мальчика, я поспешила за Матильдой Францевной в прихожую одеваться.

Там к нам присоединилась Жюли. Она была какая-то растерянная сегодня и избегала встречаться со мною глазами, точно ей было стыдно чего-то.

13. Яшку травят. — Изменница. — Графиня Симолинь

Шум, крик, визг и суматоха царили в классе у младших. Классной дамы не было, и девочки, предоставленные сами себе, подняли возню.

Черненькая Ивина вбежала на кафедру и, стуча по столу линейкой, кричала во весь голос:

— Так помните: травить Яшку сегодня же!

— Травить! Травить! — эхом отозвались сразу несколько голосов.

— Что вы, мадамочки! Разве это можно? — робко прозвучали голоса трех-четырех учениц, считавшихся самыми прилежными и благонравными из всего класса.

— Ну уж вы, тихони, молчите! — напустилась на них рыженькая Рош. — Не смейте идти против класса! Это гадость! Слышите ли, все должны дружно действовать и травить Яшку, все до одной. А кто не станет делать этого, пускай убирается от нас. Да!

Глаза Толстушки, как звали Женю Рош ее подруги, ярко разгорелись, щеки пылали.

Тихони как-то разом смолкли и присмирели. Одна из них, Тиночка Прижинцова, высокая бледная девочка, первая ученица младшего класса, неторопливо поднялась со своего места и сказала, обращаясь к Рош:

— Ты напрасно горячишься, Толстушка, раз всем классом решено травить Яшку, мы не можем отстать от класса. Только надо придумать, чем его травить...

— О, я уже выдумала! — торжествующе произнесла хорошенькая Ивина. — Сегодня нам задана басня «Демьянова уха»... Да?

— Да, да! — отвечал ей весь класс хором.

— Отлично. А мы, то есть каждая из нас, будем отвечать другую басню. И что бы ни говорил Яшка, как бы ни ругался и ни выходил из себя, мы будем отвечать не «Демьянову уху», а то, что каждая хочет. Идет?

— Идет! Идет! Прекрасно придумала! Отлично! — снова закричали девочки.

Некоторые из них даже захлопали в ладоши и запрыгали от удовольствия.

Я сидела на своем месте и с удивлением прислушивалась к тому, что происходило вокруг меня. Я понимала только одно: что тридцать маленьких глупых девочек хотят раздражить, извести одного взрослого, большого, умного человека, и вдобавок — учителя. Мне хотелось встать и сказать им, как все это нехорошо, гадко, нечестно, но — увы! — это было уже поздно. Дверь отворилась, и в класс вошел сам Василий Васильевич Яковлев, учитель русского языка.

Он был в хорошем настроении, потому что с удовольствием потирал свои красные с холода руки и поглядывал на нас добрыми через очки глазами.

Бедный Яковлев! Если бы он знал, что замыслили проделать с ним тридцать злых, бессердечных девочек!

— Холодно, девицы! Ну и денек! — произнес он, оглядывая класс. — Небось нащипало вам нос и щеки, пока из дому бежали в гимназию, а? Но «девицы» хранили упорное молчание. Тогда Яковлев понял, что класс приготовился воевать, и сразу изменил свое обращение.

— Госпожа Ивина! — слышался его резкий голос, совсем иной, нежели тот, которым он разговаривал с нами за минуту до этого. — Извольте прочесть заданное!

Хорошенькая Ляля Ивина быстро поднялась со своего места и громко, отчетливо произнесла на весь класс:

— «Демьянова уха», басня Крылова.

— Отлично-с! Ну-с, отвечайте басню.

— Хорошо! — так же бодро отчеканила Ляля и начала, предварительно откашлявшись:

Вороне где-то Бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздись,
Позавтракать было совсем уж собралась,
Да позадумалась, а сыр...

— Довольно! Довольно! — неистово замахал руками учитель. — Вы сами не понимаете, что говорите сейчас. Госпожа Рош, отвечайте басню... Госпожа Ивина, садитесь и придите в себя. Вы нездоровы, должно быть, и это избавит вас от единицы.

Ивина уселась на свое место, обводя класс торжествующими глазами, а вместо нее поднялась Женя Рош.

По улицам Слона водили,
Как видно, напоказ,
Известно, что Слоны в диковинку у нас...

пропищала она тоненьким-претоненьким голоском.

У учителя глаза стали вдруг круглыми, как орехи. Он смотрел то на толстушку Рош, то на классный журнал. Наконец, очевидно, смекнув, в чем дело, он покраснел и, махнув рукою Рош, чтобы она садилась, поставил ей крупную единицу...

— Стыдно школьничать! — произнес он строго. — Но вы обе на дурном счету,

поэтому с вас и взятки гладки, как говорится... Госпожа Прижинцова, потрудитесь прочесть вы «Демьянову уху», — обратился он к первой ученице класса.

Танюша поднялась вся красная со своего места. Ей не хотелось огорчать Яковлева и получать дурную отметку в классном журнале, и в то же время она не смела идти против класса. Слезы стояли у нее на глазах, когда она начала, захлебываясь и волнуясь.

Мартышка к старости слаба глазами стала;
А у людей она слыхала,
Что это зло еще не так большой руки:
Лишь стоит завести Очки
Очков с...

— «Демьянову уху», «Демьянову уху» прошу читать, а не «Мартышку и очки!» — закричал не своим голосом учитель. — Да что вы, извести меня поклялись все, что ли? И это вы! Прижинцова! Первая ученица, моя гордость! — произнес он дрожащим от волнения и гнева голосом. — На вас-то уж я надеялся! Ну... да уж... садитесь, — присовокупил Василий Васильевич с горечью; и новая единица прочно воцарилась в клеточке журнала.

— Степановская... Рохель... Мордвинова... Шмидт... — сердито вызывал девочек Яковлев, и каждая из них говорила всевозможные басни, только не ту, которую требовал учитель, — не «Демьянову уху», заданную на сегодня.

За черноглазой и черноволосой Сарой Рохель поднялась Жюли и начала, дерзко глядя в самые глаза учителя:

Проказница-Мартышка,
Осел, Козел, Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса...

— Молчать! — прервал Жюли грозным голосом учитель и изо всей силы ударил кулаком по столу.

И вдруг его глаза встретились с моими. Я увидела столько гнева и в то же время тоски в его обычно добрых глазах, что невольно подалась вперед, желая его утешить.

— А-а, — произнес Василий Васильевич, — госпожа Иконина-вторая, про вас я чуть не забыл... Отвечайте басню!

Я медленно поднялась и, встав у парты, начала:

«Соседушка, мой свет!
Пожалуйста, покушай».
Соседушка, я сыт по горло. — Нужды нет,
Еще тарелочку; послушай:
Ушица, ей-же-ей, на славу сварена!

Я не знаю, жаль ли мне было замученного классом учителя или совести не хватило следовать примеру моих подруг, но я читала ту именно басню, которая была задана нам на сегодня и которую я знала отлично. И чем дальше читала я, тем больше прояснялось хмурое, недовольное лицо учителя и тем ласковее сияли под очками его печальные и гневные до этого глаза.

— Отлично, Иконина! Спасибо! Успокоили старика... — произнес Василий Васильевич, когда я кончила. — А про вас всех, — обратился он к классу, — будет доложено начальнице.

И, говоря это, он обмакнул перо в чернила и вывел крупную 5 — лучшую отметку — в журнальной клеточке против моей фамилии.

Лишь только прозвучал звонок и учитель вышел из класса, девочки повскакали со своих мест и окружили меня.

— Изменница! — кричала одна.

— Шпионка! — вторила ей другая.

— Дрянная! — пищала третья.

— Вон ее! Не хотим шпионку! Прочь из класса! Вон, сию же минуту вон!

Вокруг меня были грозящие, искаженные до неузнаваемости лица; детские глазки горели злыми огоньками; голоса звучали хрипло, резко, крикливо.

— Если бы мы были мальчиками, мы бы «разыграли» тебя! — кричала Ляля Ивина, подсакивая ко мне и грозя пальцем перед самым моим носом.

— Да, да, «разыграли» бы! — вторила ей высокая рыжая Мордвинова. — У! Как разыграли б, а теперь только можем прогнать тебя. Вон!

И она толкнула меня, преобольно ущипнув за Руку.

Горбунья Жюли одна из всех не кричала и не суежилась. Но я видела, как зло сверкали ее глаза, устремленные куда-то мимо меня в стену, и как она яростно кусала свои тонкие губы. В ту же минуту кто-то схватил меня под одну руку, кто-то под другую, и меня потащили к дверям.

Я не помню хорошо, как я шла по коридору и даже шла ли я или нет, и только опомнилась, оставшись одна в большой мрачной комнате, заставленной шкалами.

Очевидно, злые девчонки притащили меня в гимназическую библиотеку и заперли в ней дверь на задвижку снаружи. По крайней мере, когда я подошла к двери, желая открыть ее, она не поддавалась.

— Мамочка! Милая мамочка! Ты видишь, что они делают со мною, и у дяди, и здесь! — прошептала я, с тоскою сжимая руки, и залилась слезами.

Мне так живо припомнилась счастливая жизнь в Рыбинске под крылышком у моей мамочки, без забот и волнений... Такая чудесная жизнь!

И, крепко стиснув голову руками, я бросилась на одно из кресел, стоявших в библиотеке, и глухо зарыдала.

— Ах, если бы только явилась какая-нибудь добрая фея и помогла мне, как помогла в сказке Сандрильоне ее крестная, — повторяла я сквозь рыдания, — явилась бы, тронула меня волшебной палочкой по плечу — и все бы стало по-старому: мамочка была бы жива, и мы бы по-прежнему жили в Рыбинске, и я бы училась под ее руководством, а не в этой противной гимназии, где такие злые-злые девочки, которые так мучают меня! Ах, если бы только добрые феи существовали на земле! Добрые феи и волшебные палочки!..

И только что я успела подумать это, как ясно почувствовала прикосновение волшебной палочки к моему плечу. Я тихо вскрикнула и подняла голову. Но не златокудрая фея в золотом одеянии стояла передо мной, а красивая, стройная девочка лет пятнадцати или шестнадцати, с чудесными черными локонами, небрежно распущенными по плечам, в коричневом форменном платье и черном фартуке.

Она ласково обняла меня и спросила:

— О чем ты плачешь, девочка?

Я взглянула в ее тонко очерченное личико, в ее немного грустные черные глаза и вдруг неожиданно кинулась к ней на шею и, громко всхлипывая на всю комнату, проговорила:

— Ах, я очень, очень несчастна! Ах, почему вы не фея и не можете помочь мне!

— Бедная девочка, бедная маленькая девочка! Как мне жаль тебя! — проговорила она печально. — Я действительно не фея, а только Симолинь... графиня Анна Симолинь. Но я постараюсь успокоить тебя и помочь тебе чем могу. Расскажи мне твое горе, малютка!

И говоря это, она нежно посадила меня к себе на колени, притянула к себе и, приглаживая своей ручкой мои волосы, ждала, когда я расскажу ей мое горе.

И я рассказала ей все. И про мамочку, и про Рыбинск, и про дядину семью, и про злых девочек...

Она слушала меня очень внимательно и поминутно менялась в лице. Когда я ей

рассказывала про смерть мамочки, она сделалась вся белая как снег, а когда я передавала ей, как злая Бавария хотела меня высечь, молоденькая графиня вся покраснела, как пион, и топнула ногою.

Когда я кончила мой недолгий рассказ, Анна крепко обняла меня и сказала:

— Мне особенно жаль тебя, потому что в твои годы у меня тоже умерла мама. Но я была все-таки счастливее тебя: у меня остался папа, который очень, очень любит меня и делает все, что я его ни попрошу. А у тебя никого нет, бедная, бедная девочка! Хочешь, я буду твоим другом? Да? Когда у тебя будет горе, приходи сюда. Только чтобы злые девчонки не знали, что ты дружна со мною, а то они будут еще хуже дразнить и мучить тебя. В гимназии нашей есть правило, которое запрещает девочкам маленьких классов дружить со старшими... Но если тебе уж очень тяжело будет, ты обвяжи платком руку и выйди в перемену между двумя уроками в коридор. Я тогда буду знать, что ты вызываешь меня сюда, в библиотеку... Согласна?

— Еще бы! — вскричала я радостным голосом и крепко-крепко поцеловала мою новую знакомую.

— Да, я и забыла самое важное! Как тебя зовут, девочка? — спросила молоденькая графиня.

— Еленой меня зовут у дяди, а мамочка... — начала я и запнулась.

— Как звала тебя твоя мамочка? — заинтересовалась юная графиня.

— Ленушей, — тихо, чуть слышно проронила я.

— Ну, и я буду звать тебя Ленушей! Хорошо. А теперь до свидания, Ленуша! — произнесла она ласково и крепко обняла меня. — Ступай в класс и не обращай внимания на злых девчонок. Они скоро поймут, как были не правы с тобой. Прощай!

И еще раз поцеловав меня, графиня Анна быстро пошла к двери. Я долго смотрела ей вслед, до тех пор пока ее стройная, высокая фигурка не скрылась в коридоре. В какие-нибудь четверть часа я успела полюбить эту красивую, добрую девочку так, как никого еще не любила после мамочки.

Теперь моя жизнь в гимназии не казалась мне такой печальной и пустой: я приобрела друга, который обещал скрашивать мне мои горькие минуты, и я чувствовала, что эта черненькая Анна любит меня, точно родную сестру.

14. Моя жизнь. — Дядина ласка. — Драка

Приближалось Рождество. Худо ли, хорошо ли, но я уже прожила около трех месяцев в доме дяди. В эти три месяца жизнь моя нимало не изменилась: так же приходилось мне терпеть от злых выходок Ниночки и Жюли, хотя последняя как-то меньше задевала меня со дня гибели Фильки, и издевательства Жоржа, считавшего вполне естественным, чтобы девочки терпели гонения от мальчиков, и наказания Баварии, или «ревельской кильки», как с того злополучного дня прозвал ее Толя. Сечь меня она, однако, больше не собиралась — вероятно, чтобы не повторился прежний припадок у Толи. С последним мы были теперь неразлучны. В свободное от уроков время я прочла ему «Робинзона Крузо». Познакомившись с этой интересной повестью, мой двоюродный братишка решил, что Пятница действительно совсем особенный дикий, и решил с этих пор быть моим Пятницей.

В гимназии дело обстояло так же, как и в день злополучного чтения басен. Девочки поминутно нападали на меня — то та, то другая. Только Жюли теперь как бы не замечала меня. По крайней мере, когда мы встречались глазами, она потупляла свои, поджимала губы и делала вид, что меня не видит совершенно. Зато графиня Анна каждую свободную минуту виделась со мною. Каким-то чудом девочки не замечали нашего знакомства и свиданий в библиотеке.

Ах, что это были за свидания! Анна, несмотря на свою молодость (ей было не больше пятнадцати), объездила полмира со своим отцом. Они были очень богаты и могли путешествовать все свободное время. Отец Анны был очень важный сановник и зимою имел

очень много работы. Зато летом они с Анной каждый год ездили за границу. Как любила эти поездки с отцом молоденькая графиня!

Я благодаря ее рассказам (а рассказывать Анна умела мастерски) узнала и про египетские пирамиды, в которых древние египтяне хоронили своих царей, или фараонов, и про Эйфелеву башню, самую высокую башню в мире, и про Адриатическое море, вечно теплое и вечно голубое...

В короткие минуты встреч Анна делилась со мною всем, что сама знала, и, Боже мой, как я любила эти встречи, как любила милую, дорогую Анну!

— Ну, детвора, через два дня плясать будем, — говорил перед кануном сочельника дядя, входя в зал в послеобеденное время, когда мы все, чинно рассевшись подле Баварии, слушали рассказ о том, как один неблагодарный мальчик набил шишку на носу другому, благодарному, и как в награду пострадавшему мать дала черносливу, а неблагодарного драчуна поставила в угол... История была прескучная, но мы должны были ее слушать, потому что уроков учить не полагалось, так как занятия в гимназии прекратились и наспустили на рождественские каникулы по домам.

Дядя был в отличном настроении; он только что приехал откуда-то и внес с собою струю свежего морозного воздуха и белые снежинки, не успевшие растаять на усах и бороде.

Толя первый вскочил со своего места, за ним — Нина, за Ниной — Жорж и за Жоржем — Жюли.

Надо сказать, что дядя любил всех своих детей одинаково и не делал различия между хорошенькой Ниночкой и горбуньей Жюли. Но он редко бывал дома и, занятый службой, не мог много времени посвящать детям.

— Папа, — кричала Жюли, — непременно пригласи на елку Ивину, Рош, Мордвинову и Рохель! Это мои лучшие подруги...

— Ну вот еще! — процедил Жорж. — Очень нужно! Лучше, папа, гимназистов позови: Валюка, Ростовцева, Чернявина, Ясвина, Котикова, Мухина, Дронского, Скворцова... а то — что девчонок! Ей-богу! Они только пищат и кривляются: «Ах, какой бантик! Ах, прелесть кушак! Ах, восторг ленточка!» Кудах-тах-тах, кудах-тах-тах! Курицы — и только! Остроумно!

Дядя смеялся.

— Всех позовем, всем места хватит... А тебе, Леночка, кого пригласить хочется, а? — обратился он неожиданно ко мне.

Я смутилась.

— Может быть, из подруг кого хочешь? — поглаживая меня по голове, ласково спрашивал он.

— У меня нет подруг, дядя! — чуть слышно произнесла я.

— Как! Никого нет в классе, кто бы подружился с тобою?

— Нет, дядя!

— Ну а так у тебя помимо гимназии разве нет подруг?

Я задумалась на минуту. «Пригласить графиню Анну?» — мелькнуло в моей голове.

Но тут же я оттолкнула эту мысль. Молоденькая графиня строго-настрога, ради моего блага, запретила мне говорить про наше знакомство. Нет, решительно я не смела приглашать ее к нам, и я уже хотела поблагодарить дядю за его внимание ко мне и сказать, что у меня нет подруг, как неожиданно над моим ухом прозвучал насмешливый голосок Ниночки:

— Что ж ты забыла про твою подругу — кондукторскую дочку!

«Нюрочку! Пригласить Нюрочку! — обрадовалась я. — Как это не пришло мне в голову раньше! Как я могла забыть про нее!»

И тут же я попросила позвать к нам на вечер маленькую дочь Никифора Матвеевича.

— С удовольствием, девочка, — согласился дядя, который всегда был ласков со мною в память своей покойной сестры, то есть моей мамочки, — напиши письмо твоей подруге. Пусть приходит... Все пишите приглашения вашим друзьям, — обратился он к детям, — а я сам приглашу только одну-единственную гостью, а кого — не скажу... — заключил он с

лукавым видом.

— Скажи, скажи, папочка! — облепили его со всех сторон Жюли, Жорж, Нина и Толя.

— Ну ладно, так и быть, скажу. Это дочь моего начальника, прелестная маленькая барышня, очень образованная и начитанная. Я бы хотел, чтобы вы подружились с ней. А теперь пустите меня. Надо ехать за покупками к балу. До свиданья! — И, перецеловав всех нас, дядя поспешил уйти.

Матильда Францевна принялась было снова за книгу, но никто не хотел знать, чем кончилась печальная повесть благонаправленного мальчика с шишкой на носу.

Жорж первый прервал чтение, вскричав:

— Могу себе представить эту дочь начальника: фря какая-нибудь! Говорит все время по-французски и ходит, как утка, переваливаясь на высоких каблуках. Остроумно!

— Ну, эта уж в тысячу раз лучше, нежели солдатская дочка! — протянула, презрительно сморщив носик, Ниночка. — Очень приятно быть знакомою с дочерью какого-нибудь министра. А то вдруг — Нью-роч-ка! Мужичкое имя. стыдно сказать!

— Ньюрочка, Курочка, Подфуфырочка, не все ли равно! Я с мужичкой танцевать не стану. И Тольке не позволю! Да! — вскричал Жорж.

— А я буду! — неожиданно пропищал мой милый Пятница и торжественно посмотрел на старшего брата.

— Молчи! Как ты смеешь! — рассердился Жорж. — Клоп, а еще разговаривает! Остроумно! Тоже! Молчать!

— Сам молчать!

Тут произошло нечто неожиданное. Жорж ударил Толю, Толя — Жоржа. И оба полетели со стула прямо под стол на ноги Баварии. У Баварии болели мозоли, она лечила их каждое утро какой-то жидкостью из зеленой баночки. Жорж ударился головой о мозоль Баварии, Бавария закричала от боли и расставила мальчиков по углам.

Жорж стоял в углу и злился. Толя вздыхал и тихонько ворчал себе под нос:

— Вот уеду на необитаемый остров, заведу себе козу и попугая, как Робинзон. Попугая выучу говорить: «Ревельская килька лечит мозоли». Ах, зачем я не Робинзон, а только Пятница.

Бедный Толя! Бедный Пятница!

15. Бал. — Снова Ньюрочка

Что это была за чудная красавица! Пышная, зеленокудрая, обвешанная золочеными украшениями и всевозможными безделушками.

Я смотрела на нарядную елку, и мне вспомнилась другая: далекая, скромная елочка, которую ежегодно добрая мамочка устраивала для меня. Ах, та елочка нравилась мне больше, гораздо больше этой пышной красавицы!

Я стою посреди гостиной, и в голове моей проносится знакомая, милая картина.

Рождественский сочельник... На дворе вьюга и метелица, а мы в теплой уютной комнате украшаем нашу елку. Мама в белом платье, такая нарядная, счастливая.

«Вот тебе от меня подарок, Ленуша!» — говорит она и подает мне сверток.

Я знаю, что это. Кукольный сервиз и настоящий самоварчик, который можно ставить. Я именно и хотела этого. Добрая мамочка, как она умеет угодить!..

И, углубившись в мечты, я совершенно забываю про окружающее...

— Вот она где! Очень любезно заставляю искать себя! — слышится вдруг подле меня голос Ниночки, который сразу будит меня.

И Нина, нарядная, хорошенькая и воздушная, влетает в залу.

За нею — ее подруги: Ивина, Мордвинова, Рош, Рохель.

Я точно просыпаюсь от сна... А какой это был сон! Дивный! Чудный!

— Гости уже собрались, а она еще и не думает одеваться! Разгуливает в своей черной ряске, точно монахиня! Изволь одеваться скорее! Из-за тебя опоздаем с танцами, гадкая

Мокрица! — выходит из себя моя хорошенькая кузина.

— Что, как ты сказала? — слышится вокруг нас веселый хохот. — Мокрица! Ах, как это верно! Она вечно хнычет, всегда! Мокрица и есть... Браво! Браво!

— Ступай одеваться! — крикнула Ниночка.

— Мне нечего одеваться. Ничего другого я не надену, — тихо, но твердо проговорила я. — Дядя позволил мне носить траур по мамочке целый год, и я ни за что не расстанусь с моим черным платьем.

— Да как же ты танцевать будешь в трауре? — сделала на меня большие глаза Женя Рош.

— Я и танцевать не буду!

— Ну, это уж дудки! Не смей портить нам праздника!

И прежде чем я успела опомниться, Женя бросилась к роялю, открыла крышку и заиграла очень шумную польку. Между тем высокая, сильная Мордвинова подхватила меня за талию и закружилась со мною по зале. Я напрасно отбивалась от нее: она была вдвое сильнее меня. Глядя на мои тщетные усилия освободиться, девочки помирали со смеху. Особенно хохотала Ниночка. Она даже на пол упала и не могла подняться, обессилев от хохота. В эту минуту в передней раздался звонок.

— Кто бы это мог быть? Верно, начальница! — разом сделавшись серьезной, произнесла Ниночка, вскакивая с полу.

— Кто, кто, какая начальница? — закидали ее вопросами девочки.

— Папиного начальника дочь. Очень важная барышня. Ее отец министр, кажется, или еще поважнее! — не без гордости произнесла Ниночка и окинула всех победоносным взглядом.

Девочки заохали и заволновались. Дочь министра! Ах, как это хорошо!.. И они будут танцевать с такой важной барышней!

— Ах, какая ты счастливица, Ниночка, что у тебя такая знатная подруга! — произнесла, блестя разгоревшимися глазками, хорошенькая Ивина.

Ниночка только кивнула, в то время как лицо ее приняло гордое и довольное выражение.

Но как раз в это время на пороге появился Жорж и крикнул мне:

— Ступай встречать свою гостью, Мокрица! Кондукторская дочка пришла!

Ах, что сделалось с Ниночкой! Она покраснела сначала, потом побледнела, потом все лицо ее пошло красными пятнами. Между тем лица остальных девочек так и засияли насмешливыми улыбками.

— Ай да Нина Иконина! — первая вскричала толстушка Рош. — Хвастунья, и больше ничего. Хороша дочка министра! Кондукторша! Вот так знакомство! Нечего сказать! Отличилась!

Ниночка, вся красная, оправдывалась, как могла: это не она виновата, а противная Мокрица, и кондукторская дочка не ее гостья, а Мокрицына. А дочка министра будет, непременно будет. Вот они все увидят. А с кондукторшей она и говорить не станет и мальчикам с ней не позволит танцевать. Так как она Мокрицына гостья, а не ее, Ниночки, то пусть Мокрица и возится с нею.

Ниночка говорила еще много-много, но я уже не слышала ничего — я стояла перед Нюрочкой в прихожей, помогала ей раздеваться и поминутно повторяла, стараясь скрыть от нее мое смущение:

— Ах, как я рада видеть тебя, Нюрочка! Как рада!

На Нюре было простенькое шерстяное платьице, но сшитое очень аккуратно; волосы ее, заплетенные в две косы, были перевязаны красной ленточкой. Ничего грубого, смешного не было в ее костюме.

Я взяла Нюру за руку и повела в зал. Там уже танцевали. Товарищи-гимназисты Жоржиного класса приглашали подруг Жюли, которые, однако, скорее были подругами живой и хорошенькой Ниночки, с которою успели подружиться, посещая ее сестру. По

крайней мере, они вертелись все время подле Ниночки, в то время как Жюли оставалась одна в самом отдаленном углу зала. Я отыскала ее и вместе с Нюрой подошла к ней.

— Отчего ты не танцуешь, Жюли? — спросила я девочку.

— Убирайся вон, если ты пришла издеваться надо мною! — резко отвечала горбунья. — Разве калека может танцевать? Ты глупа, если не понимаешь этого!

— Бедняжка! — сочувственно глядя на нее, проговорила Нюра. — Как мне жаль вас. Я так люблю танцевать сама, что мне кажется — и все должны любить танцы...

— Кажется — так перекреститесь, и не будет казаться! — грубо оборвала девочку Жюли. — Желаю вам веселиться, только вряд ли придется, — заключила она со злой торжествующей улыбкой.

Между тем Матильда Францевна, сидевшая за роялем, заиграла очень красивый мотив вальса. Маленькие кавалеры подходили к маленьким дамам и приглашали их. Пара кружилась за парой. Все девочки танцевали. Все мальчики имели по даме. Даже мой милый Пятница кружился вовсю с толстенькой Рош. Одна только Жюли оставалась в своем углу, да Нюрочка, по-прежнему находившаяся подле меня, не дождалась приглашения.

Мне было очень больно за девочку. Я сразу поняла, чьи это были шутики.

«Неужели же никто не захочет танцевать с нею оттого только, что она дочь кондуктора, а не важная барышня? — мысленно терзалась я. — Нет, не может быть, чтобы это было так! Не должны же быть такими злыми все эти веселые, живые мальчики!»

— Толя! Толя! — позвала я моего Пятницу. — Не можешь ли ты потанцевать с Нюрой? — попросила я его.

— Ах, Леночка, — произнес с совершенно искренним отчаянием мой милый Пятница, — я тебя очень, очень люблю... но ты посмотри только: Нюра твоя — длинная, как аршин, а я маленький, как карандашик! — заключил он, разводя руками.

Он был прав, к сожалению. Нюра была очень высокого роста для своих лет, и Толя приходился ей только по пояс. Смешно было составить такую танцующую пару.

Но тут же мой Пятница и выручил меня.

— Смотри, Леночка, — оживленно заговорил он, — видишь ты того высокого гимназиста? Это Миша Ясвоин. Он очень умный и вежливый мальчик. Пойди к нему и попроси его пригласить Нюру.

Сказано — сделано. Через минуту я уже стояла перед красивым белокурым мальчиком и просила его, заикаясь от смущенья, вся красная как рак:

— Пожалуйста... если можете, пригласите Нюрочку на какой-нибудь танец!

Он окинул серьезным, умным взглядом мою маленькую фигурку в черном траурном платье и проговорил очень вежливо, расшаркиваясь передо мною:

— Прошу извинить меня, мадемуазель, но у меня уже есть дама.

И тотчас же стал кружиться с Сарою Рохель.

— Жорж! Жорж! — вскричала я отчаянным голосом, увидя проходившего мимо меня Жоржа. — Пожалуйста, потанцуй с Нюрой!

— Вот еще! — отмахнулся от меня резко мой двоюродный братец. — Она, наверное, и двух шагов сделать не сумеет... И потом у нее голова, наверно, напомажена репейным маслом. Эти мужички всегда репейным маслом голову мажут. Остроумно!

И, подпрыгнув на одной ножке, Жорж отошел от меня.

16. Неожиданная встреча. — Мазурка. — Нюрочка отличилась

— Приехала! Приехала! Приехала! — пронеслось шумным шепотом по зале.

— Настоящая гостья приехала, а не кондукторша какая-нибудь! — пробегая мимо меня и Нюрочки, съехидничала Ниночка. — Начальница, дочь министра! Вот кто!

Все выбежали в прихожую. Даже Жюли покинула свой угол и поспешила следом за остальными.

Я и Нюра остались одни. Мне было стыдно взглянуть на мою новую подругу: я

чувствовала невольную вину за собою в том, что все так обижают ее... Ах, зачем, зачем я пригласила ее на елку!

— Простите ли вы меня, Нюрочка? — тихо, сконфуженно обратилась я к моей подруге.

— Ах, что вы, Леночка! — всплеснула руками та. — Да разве вы виноваты! Да мне и не обидно нисколько. С вами куда лучше побывать, чем без толку-то кружиться.

И она крепко обняла меня, желая утешить. Едва мы успели поцеловаться, как вся толпа детей вернулась в залу.

— Вы еще не со всеми перезнакомились, графиня, — услышала я голос Жоржа где-то поблизости. — Рекомендую вам, моя кузина Мокрица! Прошу любить и жаловать!

— Что такое? Кто? — послышался мне странно знакомый голос.

Я подняла глаза... и отступила с легким криком изумления.

Передо мной стояла Анна. Графиня Анна, мой самый близкий, дорогой друг!

— Ленуша! Ты! — прозвучал надо мною ее чудный голос.

— Анна! Милая Анна!.. — Я бросилась к ней, кинулась ей на грудь и покрыла поцелуями ее точеное милое личико. — Анна! Здесь? Вы — здесь? Господи! Как я счастлива! — шептала я, крепко прижимаясь к моему другу.

— Ленуша! Вот не ожидала-то встретить! И не думала, что мосье Иконин, твой дядя, и есть сослуживец моего папы! Ах, как все это странно и хорошо вышло! — А это кто? С остальными детьми я уже успела перезнакомиться, — обратилась ко мне с вопросом Анна, глядя на стоявшую подле меня Нюрочку.

— Это Нюрочка! Моя подруга!

— Кондукторша! — четко прозвучал голос Жоржа, спрятавшегося в толпе мальчиков.

Анна ничего не сказала, только чуть сощурила на шалуна свои строгие черные глаза. Потом быстро подошла к Нюре, обняла ее и сказала:

— Очень рада познакомиться с вами. Вы подруга Ленуши, а я ее старший друг. Будем и мы друзьями.

Нюрочка даже покраснела от удовольствия. И было отчего! Красивая, знатная барышня — графиня — обладала ее на глазах всех этих недобрых детей, так бессовестно смеявшихся над нею.

Ниночка надулась. Жюли также. Они вертелись все время подле Анны, всеми силами стараясь обратить на себя внимание. Жюли знала по гимназии молоденькую графиню, но никак не думала, что это она и есть дочь начальника ее отца.

Но Анна ни на кого не хотела, казалось, обращать внимания, кроме меня и Нюры. Она села между нами и расспрашивала, как мы проводим праздники, интересовалась занятиями Нюрочки в школе и всячески обладала ее.

Когда Матильда Францевна снова уселась за рояль и заиграла мазурку, к Анне сразу подбежали два кавалера приглашать ее на танцы: Миша Ясвоин и Жорж.

— Нет, вы лучше возьмите себе других дам, — с милой улыбкой ответила им молоденькая графиня, — а у меня есть уже дама у самой.

— Кто? — в один голос вскричали оба мальчика.

— А вот! — И Анна указала глазами на Нюрочку. — Не правда ли, вы не откажетесь танцевать со мною? — с той же милой улыбкой спросила она.

Нюрочка вся вспыхнула от удовольствия.

— Благодарю вас! — произнесла она, взглянув признательными глазами на моего друга.

Жорж закусил губу и топнул ногою.

— Воображаю танцующей эту кондукторшу! Верно, переваливается с боку на бок, как резвящийся гиппопотам! Остроумно! — шипел он себе под нос, меняясь в лице от злости.

Девочки сочувственно смотрели на него. Товарищи-гимназисты утешали его, как могли.

— Ничего! Ничего! — ворчал Жорж. — Посмотрим, как она танцевать будет! Верно, запрыгает, как коза в сарафане! Восторг! Остроумно!

Но ничего подобного не случилось.

С первыми же звуками мазурки Нюрочка грациозно взялась двумя пальцами за свою пышную юбочку, другую руку подала Анне и красиво и плавно, наклонив немного головку набок, легко понеслась по паркету.

Дети даже ахнули от изумления. Маленькая кондукторша танцевала отлично, даже лучше самой графини Симолинь! Даже Матильда Францевна сделала несколько ошибок, невольно залюбовавшись на танцующую пару. Из соседней с залой гостиной пришли взрослые и тоже не могли надивиться на обеих девочек.

Обе они то скользили, как две воздушные феи, по паркету, то неслись быстро, как эльфы, изумительно выделявая грациозные па и ни на минуту не теряя такта.

— Bravo! Bravo! — вторили им дети, совершенно забыв, что за минуту до этого они сами же высмеяли ту, которой сейчас высказывали шумное одобрение.

— Прекрасно! Чудесно! — слышалось со всех сторон.

— Вы отлично танцуете! Где вы учились? — спросил, подойдя к Нюрочке, Миша Ясвоин.

— Ах, я нигде не училась, — чистосердечно призналась та, — у нас есть ученица одна в школе, так та показывала нам, как мазурку танцевать надо, и польку, и вальс.

— Прелесть как хорошо! — одобрил Миша, считавшийся лучшим танцором во всем классе. — Пойдемте со мной!

И Нюрочка, нисколько не ломаясь и не гримасничая, пошла с Мишей.

Потом к ней подошел Коля Валюк, Ваня Ростовцев, Володя Мухин, Сережа Дронской — и со всеми она танцевала с одинаковым удовольствием, совершенно позабыв нанесенную ей обиду.

— Ага, что скажешь — резвящийся гиппопотам? Коза в сарафане, да? — подскочил к Жоржу торжествующий Толя, все время с восторгом следивший за танцующей Нюрочкой.

— Молчи, щенок! — огрызнулся на него старший брат.

— А ты... а ты... а ты... гадкий мальчишка! — чуть не плача от досады, что ему не выдумать подходящего бранного названия, захлебываясь, произнес Толя.

Анна заметила эту сцену, происходившую неподалеку от нее.

— Пойди сюда, малютка! — позвала она мальчика. — Ты очень любишь Ленушу? — спросила она, когда Толя приблизился к ее стулу.

— Ужасно! — горячо вырвалось у него. — Недавно полюбил только. Раньше не любил и тоже называл Мокрицей, а когда узнал, какая она хорошая, то так полюбил, так! Вот как! — И он неожиданно обвил мою шею обеими ручонками и звонко чмокнул на всю залу. — Вот! — торжествующе заключил он.

— Ах ты прелесть! — засмеялась Анна, притягивая его к себе. — И меня ты любишь?

Толя посмотрел на нее долгим, внимательным взглядом, потом сказал:

— Вас я еще не люблю, потому что мало знаю. Но вы мне нравитесь. Вы ужасно хорошенькая. У вас такие глаза! Я еще таких не видел. Если б я был такой же большой, как папа, я бы непременно женился на вас.

— Ах ты бутуз! — весело рассмеялась маленькая графиня и, тотчас же став серьезной, тихо проговорила: — Слушай, мальчик! Ты должен теперь защищать Ленушу, беречь ее, быть ее рыцарем...

— Ах, нет, я лучше буду ее Пятницей, — прервал внезапно Анну мой милый братишка.

— Ну, кем хочешь будь — только чтобы никто не смел ее обижать... Слышишь? А в награду за это я выйду за тебя замуж, когда ты вырастешь! Хочешь?

— Ужасно хочу! — обрадовался мальчик.

Анна звонко рассмеялась и, поцеловав его, отпустила плясать.

Перед самым ужином разобрали елку. Каждый из детей получил по красивому дорогому подарку. Все были счастливы и довольны. Мне подарили хорошенький бювар с массой карточек и конвертов. Толя получил трубу и трубил в нее так, что Анна пресерьезно уверяла его, что он оглушит свою невесту.

Наконец последние свечи догорели, елку убрали. Федор и Дуняша явились со щетками в руках подметать пол. В зале открыли форточки, а нас, детей, повели ужинать.

За ужином Нюрочке пришлось еще раз отличиться.

Стали задавать шарады. Миша Ясвоин задал особенно интересную.

— Мое первое, — начал он, — нечто вроде песни, мое второе — часть света, а целое — учебное заведение. Что это будет, а?

— Часть света... м-м-м... часть света... — замялся Жорж, — я знаю части света... север, юг, восток и запад...

Но едва он окончил свою фразу, как в столовой раздался оглушительный хохот детей.

— Север, юг, восток и запад — по-твоему, части света! — громче всех кричал его приятель Миша. — А еще второкласник! Вот молодец! А Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия — что, по-твоему, будет? Страны света? Ай! Ай! Ай! Осрамил ты нашу братию, Жорж!

Жорж сконфузился ужасно и, красный до ушей, лепетал себе под нос:

— Страны... части... не все ли равно! Глупая шарада! Остроумно!

Но тут смех детей раздался с новой силой:

— Как все равно? Ай да гимназист! Ай да второкласник!

Нюрочка, сидевшая между мною и Анной, вдруг неожиданно встала со своего места.

— Ах, он не виноват! Право, не виноват! Он спутал. Шарада трудная, — заступилась она за Жоржа.

— А вы решите? — со смехом крикнул ей Миша Ясвоин. — Ну-ка!

— Да я уж и решила, — скромно ответила Нюрочка, — первое — гимн, второе — Азия, а все вместе — гимназия, — закончила она.

— Верно! Bravo! Bravo! — вскричал Миша.

— Bravo! Bravo! — вторили ему дети.

— Какая умная эта Нюрочка... А мы-то! — шепнула Сара Рохель Ляле Ивиной.

После ужина все стали разъезжаться.

— Прощайте, Анна! Прощайте, милый друг мой! — говорила я, стоя в прихожей и помогая одеваться моей подруге.

— Прощай, Ленуша! Крепись, если тяжело тебе живется! Теперь мы будем видеться часто в гимназии.

— Очень рада! — отвечала я, целуя графиню.

— Смотри же, Толя! Береги свою кузину, — прощаясь с мальчиком, говорила она, — помни, что я твоя невеста, а ты — ее рыцарь.

— Не рыцарь, а Пятница! — важно поправил мальчик.

Нюрочка уехала последнею. Она долго целовалась со мною, обещая заходить.

Жорж, Ниночка и Жюли мило простились с нею, как с равной, поняв наконец всю глупость своего недавнего поступка с нею.

17. Происшествие. — Чужая вина

Прошло Рождество, пролетело Крещение — и снова потянулись скучные будни. Снова каждое утро Дуняша будила меня и отправляла в гимназию. Снова ежедневно просиживали мы с Жюли и Жоржем около пяти часов в классе, в то время как к Ниночке и Толе ходили учителя домой.

Моя гимназическая жизнь несколько изменилась за это время. Девочки, у видя мою дружбу с графиней Анной, которая слыла любимицей всей гимназии, сразу прекратили свою травлю. Правда, меня пока еще чуждались, но обиды и нападки на меня уже не возобновлялись в классе.

Стоял ясный январский денек. Маленькие гимназистки бегали по зале. Шла большая перемена, после которой должен был быть урок батюшки. Но батюшка прислал записку, что болен, и мы узнали, что вместо урока батюшки Японка будет диктовать нам из красной

книжки, которую она особенно берегла, никому не давала и прятала в свою корзиночку для работы. Из другой книжки она не диктовала нам никогда.

Ровно в час на пороге залы появилась тощая, сухая фигура и крикнула резким голосом:

— Дети, в класс! Сейчас будем заниматься немецкой диктовкой. Приготовьте перья и тетради и ждите меня. Я должна зайти к начальнице на минуту. Сейчас вернусь.

— Немецкая диктовка! Фу, гадость! — делая кислую гримасу, произнесла Ляля Ивина. — Что может быть хуже немецкой диктовки, спрашиваю я вас?

— Японка хуже! Сама Японка хуже, в сто раз хуже! — пищала шалунья Соболева.

Действительно Японка была хуже. Она бранилась, злилась и придиралась к нам ужасно. Не было девочки в младшем классе, которая бы любила ее. Она постоянно жаловалась на нас начальнице, подслушивала и подсматривала за нами и всячески изводила нас. И немудрено потому, что и ей платили тем же.

— А знаете, — громче других раздался в эту минуту голос Жюли, — я сделаю так, что диктовки не будет! Хотите?

— Ты сделаешь? Как? Вот глупости! Как ты можешь это сделать, когда красная книжка уже лежит, по своему обыкновению, в рабочей корзинке Японки и сама Японка явится диктовать через какие-нибудь пять минут! — волновались девочки.

— А вот увидите, что книжки она не найдет и диктовать не будет! — торжествующе прокричала Жюли и исчезла куда-то.

Девочки замешкались в зале, не желая так скоро прервать игру. Я пошла в класс приготовить свою тетрадь. Каково же было мое удивление, когда навстречу мне выскочила Жюли, красная, взволнованная, с блестящими, как уголья, глазами.

— Что ты здесь делала, Жюли? — спросила я, останавливая девочку.

— Не ваше дело, госпожа Мокрица! Много будете знать — скоро состаритесь.

И, говоря это, она несколько раз оглядывалась в угол, и глаза ее бегали по сторонам. Я тоже взглянула туда и испуганно ахнула, разом догадавшись, в чем дело. В углу стояла круглая печь, которая постоянно топилась в это время; дверца печки сейчас была широко раскрыта, и видно было, как в огне ярко пылала маленькая красная книжка, постепенно сворачиваясь в трубочки своими почерневшими и зауглившимися листами.

Боже мой! Красная книжка Японки! Я сразу узнала ее.

— Жюли! Жюли! — прошептала я в ужасе. — Что ты наделала, Жюли!

Но Жюли, как говорится, и след простыл.

— Жюли! Жюли! — отчаянно звала я мою кузину. — Где ты? Ах, Жюли!

— Что такое? Что случилось? Что вы кричите, как уличный мальчишка! — внезапно появляясь на пороге, строго произнесла Японка. — Разве можно так кричать! — Потом, заметив мой сконфуженный и растерянный вид, она окинула всю мою маленькую фигуру подозрительным взглядом и громким голосом спросила, строго нахмутив свои беловатые брови: — Что вы тут делали в классе одна? Отвечайте сию же минуту! Зачем вы здесь?

Но я стояла как пришибленная, не зная, что ей ответить. Щеки мои пылали, глаза упорно смотрели в пол.

Вдруг громкий крик Японки заставил меня разом поднять голову, очнуться...

Она стояла у печки, привлеченная, должно быть, открытой дверцей, и, протягивая руки к ее отверстию, громко стонала:

— Моя красная книжка, моя бедная книжка! Подарок покойной сестры Софи! О, какое горе! Какое ужасное горе!

И, опустившись на колени перед дверцей, она зарыдала, схватившись за голову обеими руками.

Только и слышны были между взрывами слез и всхлипываний одни и те же восклицания отчаяния и горя:

— Моя книжка... красная книжка!.. Подарок Софи, моей бедной единственной покойной Софи!

Мне было бесконечно жаль бедную Японку. Я сама готова была заплакать вместе с

нею.

Тихими, осторожными шагами подошла я к ней и, легонько коснувшись ее руки своею, прошептала:

— Если б вы знали, как мне жаль, мадемуазель, что... что... я так раскаиваюсь...

Я хотела закончить фразу и сказать, как я раскаиваюсь, что не побежала следом за Жюли и не остановила ее, но я не успела выговорить этого, так как в ту же минуту Японка, как раненый зверь, подскочила с полу и, схватив меня за плечи, стала трясти изо всех сил.

— Ага, раскаиваетесь! Теперь раскаиваетесь, ага! А сама что наделала! О злая, негодная девчонка! Безжалостное, бессердечное, жестокое существо! Сжечь мою книжку! Мою ни в чем не повинную книжку, единственную память моей дорогой Софи!

И она трясла меня все сильнее и сильнее, в то время как щеки ее стали красными и глаза округлились и сделались совсем такими же, как были у погибшего Фильки. Она, наверное бы, ударила меня, если бы в эту минуту девочки не вбежали в класс и не обступили нас со всех сторон, расспрашивая, в чем дело.

Японка грубо схватила меня за руку, вытащила на середину класса и, грозно потрясая пальцем над моей головою, прокричала во весь голос:

— Это воровка! Она маленькая воровка, дети! Сторонитесь ее! Она украла у меня маленькую красную книжку, которую мне подарила покойная сестра и по которой я вам делала немецкие диктанты. Не знаю, что побудило Иконину-вторую совершить такой нечестный, неблагородный поступок, но тем не менее она совершила его и должна быть наказана! Она — воровка!

Воровка!.. Боже мой! Мамочка моя! Слышишь ли ты это?

Голова у меня шла кругом. Шум и звон наполняли уши. Я очнулась, только услышав легкое шуршанье бумаги у меня на груди.

Боже мой! Что это? Поверх черного передника, между воротом и талией, большой белый лист бумаги болтается у меня на груди, прикрепленный булавкой. А на листе выведено четким крупным почерком: /«Она воровка! Сторонитесь ее!» /О, какой ужас! Я ожидала всего, но не этого. Мне придется сидеть с этим украшением в классе, ходить перемену по зале, стоять на молитве по окончании гимназического дня, и все — и взрослые гимназистки, и девочки, ученицы младших классов, — будут думать, что Иконина-вторая воровка!

Боже!.. Боже!

Это было не под силу вынести и без того немало настрадавшейся маленькой сиротке! Сказать сию же минуту сказать и злой, жестокой Японке, и всем этим девочкам, с презрением отвернувшимся теперь от меня, сейчас же сказать, что не я, а Жюли виновата в гибели красной книжки! Одна Жюли! Да, да, сейчас же, во что бы то ни стало! И взгляд мой отыскал горбунью в толпе прочих девочек. Она смотрела на меня. И что за глаза у нее были в эту минуту! Жалобные, просящие, молящие!.. Печальные глаза. Какая тоска и ужас глядели из них!

«Нет! Нет! Ты можешь успокоиться, Жюли! — мысленно произнесла я, вся исполненная жалости к маленькой горбунье. — Я не выдам тебя. Ни за что не выдам! Ведь у тебя есть мама, которой будет грустно и больно за твой поступок, а у меня моя мамочка на небесах и отлично видит, что я не виновата ни в чем. Здесь же, на земле, никто не примет так близко к сердцу мой поступок, как примут твой! Нет, нет, я не выдам тебя, ни за что, ни за что!»

И как только я приняла это решение, тяжесть, навалившаяся было мне на сердце, разом куда-то исчезла. Какое-то даже будто радостное чувство, что я страдаю за другого, наполнило все мое сердце приятной теплотой.

Когда по окончании немецкого чтения, которое заменило диктовку, весь класс шумно направился в рассыпную в залу, и я пошла следом за остальными.

— Смотрите, мадамочки, воровка, воровка идет! — послышались голоса маленьких гимназисток других классов.

— Графиня Симолинь! Симолинь! Где ты, Анночка? Анна! Смотри-ка, что случилось с твоим маленьким другом! — кричала какая-то воспитанница старших классов, в то время как толпа маленьких девочек и взрослых девушек плотным кольцом окружила меня.

Я вздрогнула от неожиданности. Графиня Анна!.. О ней-то я и забыла! Как примет она это? Что подумает обо мне? Нет, нет! Убежать скорее и забиться куда-нибудь подальше в темный угол, пока не поздно.

Но — увы! — было уже поздно. Я не успела убежать.

— Где она? Что такое?.. Ленуша, Леночка! — послышался за моими плечами любимый, милый голос, который бы я узнала из тысячи, и Анна, расталкивая толпу, вбежала в круг.

— Леночка! Ты? Ах! — могла только выговорить моя старшая подруга, вмиг прочитав на груди моей ужасную надпись.

На секунду глаза ее остановились на мне строгим, вопрошающим взглядом. Лицо ее стало суровым и угрюмым, каким я еще ни разу не видала прелестное, доброе лицо Анны. И вдруг ясная, кроткая, как солнце, улыбка осветила чудесным светом это милое лицо. Она обвела весь круг тесно толпившихся вокруг нас девочек разом засиявшими, радостными глазами и произнесла высоким и звонким, как струна, голосом, указывая на меня детям:

— Эта девочка не виновата ни в чем. Очевидно, она наказана по недоразумению. Елена Иконина не может быть воровкой. Я говорю вам это, я — графиня Анна Симолинь.

Потом, в два прыжка приблизившись ко мне, она быстро протянула руку, и в одну секунду ужасная бумага с позорной надписью была сорвана с моей груди. Я бросилась в ее объятия.

18. Раскаяние

Это была ужасная ночь!

Я просыпалась, и снова засыпала, и опять просыпалась, не находя себе покоя. И во сне переживала я невольно все то, что пришлось перенести за день. Японка совсем озверела, узнав, что Симолинь сорвала надпись с моей груди, и, как только Матильда Францевна пришла за нами по окончании уроков, она пожаловалась ей на меня самым добросовестным образом. Конечно, Бавария поторопилась передать все тете Нелли (дяди, к счастью, в этот день не было дома), а тетя Нелли... О, чего только не наговорила мне тетя Нелли!

Я лучше готова была бы провалиться сквозь землю, лишь бы не слышать ее резкого, ровного голоса, произносившего такие неприятные для меня вещи. Тетя Нелли называла меня неблагодарной, черствой девчонкой, не умеющей ценить то, что для меня делают, заявляла, что я осрамила всю семью дяди и что ей, тете Нелли, стыдно, что воровка приходится ей племянницей... и... и еще многое другое, еще... Ах, что это была за пытка! Наконец, устав говорить, тетя отпустила меня готовить уроки, оставив предварительно без обеда и запретив мне строго-настрого играть и разговаривать с другими детьми.

— Такая дрянная девчонка, как ты, — с холодной жестокостью проговорила напоследок тетя, — может только принести вред своей дружбой.

О, это было уже слишком!

Что мне запретили сноситься с другими детьми, этим я не была огорчена нимало, но что я не смела подходить к Толе, к моему милому верному Пятнице, — это мне было очень и очень тяжело!

Я все-таки принялась, однако, за приготовление уроков, но учиться я не могла. Голова трещала, и мысли путались.

Добрая Дуняша, узнав, что я оставлена без обеда, принесла мне вечером потихоньку от Баварии бутерброд с мясом и кусок сладкого пирога. Но ни пирог, ни мясо не шли мне в горло, и я вместо ужина, чтобы забиться сном, улеглась пораньше в постель. Но спать не могла до полуночи, пожалуй, а когда уснула, то мне снились такие странные, такие тяжелые сны, что я поминутно вскрикивала и просыпалась.

Мне снилось, что я поднимаюсь на какую-то очень высокую гору и везу за собою

тачку. В тачке сидит Бавария и больно подхлестывает меня кнутом. А с горы кубарем катится Японка, вся красная, как пион, с глазами круглыми, как у Фильки. Она бежит прямо на меня и, схватив за плечи, трясет изо всей силы... А под горой горькими слезами плачет Толя. Мне больно от цепких пальцев Японки, я хочу освободиться и не могу... А Толя плачет все громче и громче. Наконец я делаю невероятное усилие, вырываюсь из рук моего врага... и... и... просыпаюсь...

Кто-то плачет, тихо всхлипывая в ногах моей постели. Я слышу чье-то тяжелое дыхание. Лампада у образа, накопившая за ночь, с треском потухла, и в комнате стало совсем темно. Не видно ни зги. Но чей-то непрерывный плач я продолжала слышать.

— Это ты. Толя? — тихо зову я, разом решив, что так плакать может только бедный Пятница о своем Робинзоне.

Ответа нет. Только прежнее громкое всхлипывание звучит где-то близко, близко! Я чиркаю спичкой... Зажигаю свечу, находившуюся всегда на ночном столике у моей постели, и, высоко подняв ее над головою, разом освещаю комнату.

Боже мой! Наяву это или во сне?

Прикорнув головой к моим ногам, стоя на коленях у постели, горбунья Жюли плачет навзрыд горькими-прегорькими слезами.

— Жюли! Милая! Что с тобою? Пойди сюда! Кто тебя обидел? — закидываю я вопросами девочку.

Ни звука, ни слова в ответ, только плач и всхлипывания делаются сильнее. Тогда я вскакиваю с постели, с трудом высвободив свои ноги из рук Жюли, и бросаюсь к ней:

— Жюли! О чем же ты плачешь? Скажи мне, ради Бога!

Тихий стон вырывается из ее груди. Потом она отрывает от постели свое лицо, все залитое слезами, и, неожиданно схватив мои руки, осыпает их градом горячих поцелуев:

— Лена... Лена! Бедная! Святая! Да, да, святая! За что ты так страдаешь? — рыдает она. — За что, за что?

И снова, обессиленная слезами, валится на постель.

Я быстро разыскиваю стакан, наполняю его водою из умывальника и, поднося к губам Жюли, говорю тихо:

— Выпей водицы, Жюли, это тебя успокоит!

И в то же время тихо, ласково глажу черненькую головку девочки, как это делала мне покойная мамочка, когда я была огорчена чем-нибудь. Жюли выпила с трудом немного воды из стакана, причем зубы ее так и стучали о края его, потом неожиданно с силой притянула меня к себе и до боли сжала в своих объятиях.

Мы просидели так минуту, другую. Потом Жюли вдруг неожиданно оттолкнула меня от себя и снова зарыдала, с трудом выговаривая слова:

— Нет, нет, ты не простишь меня! Ты не сможешь меня простить! Я слишком злая!

— Я простила тебя, Жюли! Я уже давно простила! — стараясь успокоить девочку, твердила я.

— Ты? Ты простила меня? Меня простила, меня, которая мучила, терзала, оскорбляла тебя? Сколько раз ты была наказана из-за меня! Ведь Фильку я сунула в ящик; я не думала, что он там задохнется. А он умер, Филька... И тебя из-за меня, негодной, тогда еще высечь хотели. А сегодня! О! Что ты перенесла из-за меня сегодня! Лена! Бедная, милая Лена! Какая я злая, гадкая, негодная! — всхлипывала горбунья.

— Полно, Жюли, ты не виновата!

— Я-то не виновата? — прорыдала она снова, — Я-то? Ах, Лена! Лена! Да я злодейка перед тобою, а ты! Ты святая, Лена. Я поклоняюсь тебе!

И прежде чем я успела остановить ее, Жюли склонилась передо мной до пола и, охватив мои ноги, покрыла их поцелуями и слезами.

— Полно! Полно, Жюли! — с трудом поднимая девочку и сажая ее подле себя на постель, говорила я. — Так не надо делать, это грешно! Ты лучше полюби меня.

— Полюбить тебя! — вскричала она, и вдруг рыдания ее разом смолкли. — Да я люблю

тебя давно, Леночка, после папы тебя только одну и люблю... Ты одна меня не обижала, бедного, жалкого уroda!.. Ведь и злая-то я оттого только, что я урод, Леночка... Другие дети здоровые, сильные, красивые, кому я такая нужна!.. А тебя я давно люблю... Только сама не знала... не верила... а сегодня, как увидела, что ты за меня наказана была и меня не выдала, так у меня сердце забилося, забилося... И завтра же непременно решила повиниться перед классом и Японкой. И маме скажу, и Баварии — всем, всем! Только ты люби меня, Лена, милая, люби меня, злую, гадкую уродку!

Я взглянула в ее жалкое худенькое личико, распухшее от слез, в ее измученные глаза, взглянула на ее горбатую фигурку со впалой грудью и вдавленными плечами — и вдруг сильная, болезненно-жгучая жалость к ней наполнила все мое существо.

— Я буду любить тебя, милая Жюли! — произнесла я чуть слышно.

Она бросилась ко мне, обняла меня, покрыла горячими поцелуями мое лицо, руки, тихо лепеча мне на ушко:

— Теперь я счастлива! В первый раз в жизни совсем счастлива... веришь ли, Леночка...

19. Ужасная новость. — Я справедливо заслуживаю наказания

— «Поезд N 2, держа путь от станции Ю-во по Рыбинской железной дороге, потерпел крушение на сто первой версте от Петербурга. Первые три вагона и паровоз разбиты вдребезги. Поездная прислуга и пассажиры выкинуты на полотно. Есть убитые и раненые. Потери еще не выяснены. Пострадавших подобрал встречный поезд и привез в Петербург...»

Я сидела за утренним чаем в то время, как тетя Нелли, нарядная и красивая, по своему обыкновению, в своем розовом капоте, читала эту выдержку из сегодняшней газеты Матильде Францевне, разливавшей чай.

Трах! Дзинь! Дзинь! Дзинь! И чашка с горячим чаем выскользнула из моих дрожащих рук и со звоном упала на пол.

Поезд N 2, рыбинский поезд, на котором приехала я и на котором служил мой взрослый друг Никифор Матвеевич! О, какой ужас! Какой ужас!..

Я вскочила не помня себя, вся залитая горячим чаем, с обваренными руками, и, трясась, говорила, вне себя от ужаса:

— Тетя Нелли! Это он! Он погиб, непременно погиб!

— Кто он? Что с тобою? И как ты смела разбить чашку... Ужасная разиня! — рассердилась на меня тетя. — Кто погиб? Говори же толком.

— Нюрин папа погиб... Это его поезд сошел с рельсов... Никифор Матвеевич... Ах, пустите меня к ним, пустите, ради Бога!

И сама не помня себя и не понимая, что делается со мною, я бросилась к двери со всех ног.

Сильная рука удержала меня за плечо.

— Но ты с ума сошла, глупая девчонка! — услышала я за собою резкий голос тети и, обернувшись, увидела перед собой ее сердитое лицо. — Куда ты бежишь? Что тебе надо?

— Ах, пустите меня к ним! Пустите, ради Бога, — рыдала я, отбиваясь от державших меня рук. — Ради Бога, пустите к ним!.. Он ранен, убит!.. Я хочу быть около Нюрочки... Я хочу помочь ей ухаживать за ее больным папой. Он был так добр ко мне, когда я ехала сюда после смерти мамы! Пустите меня теперь к нему... к Нюре... Прошу вас! Умоляю!

— Перестань дурачиться! — прикрикнула на меня тетя Нелли. — Сейчас же приведи себя в порядок, перемени фартук — этот весь залит чаем — и ступай в гимназию!

Я схватилась за голову... В первый раз в жизни я почувствовала прилив страшной злобы. Я ожесточилась разом, как затравленный зверек. Мне казалось таким жестоким не пустить меня к ним. Все мое сердце обливалось кровью при одной мысли о том, что у моих друзей горе и что я не могу быть с ними!

— Ну, хорошо же! — прошептала я, до боли стискивая руки, так что пальцы мои захрустели. — Вы не хотите отпустить меня — и не надо!

И, закрыв лицо руками, я выбежала из столовой.

Пока Дуняша переодевала меня, мысли мои так и работали в голове, так и кружились.

Что делать? Как поступить? Как повидать Ньюру и моего бедного взрослого друга, ее отца? Если написать ей — письмо идет долго, и Бог знает когда я получу ответ. Через сутки только! А что может случиться за целые сутки!.. Боже мой, Боже мой!..

Дождаться, когда дядя вернется со службы, и упротить его свести меня к моим друзьям! Но ведь дядя иногда прямо со службы отправляется в клуб обедать и Бог знает как поздно возвращается в таких случаях домой, заигрываясь в свои любимые шахматы до первого часа.

Нет, и это не идет. Надо другое...

И вдруг... неожиданная мысль разом как бы осветила мою голову.

Я убегу! Да-да! Я убегу сегодня из гимназии. Но для этого придется сделать какую-нибудь шалость или выкинуть какую-нибудь проделку, за которую бы меня наказали, оставив в гимназии на неурочное время. А когда все разойдутся, я отбуду срок наказания и, вместо того чтобы идти домой, отправлюсь к Нюре. Наверно, Бавария не придет за мною, а если придет, то не найдет меня уже больше. Я буду — тю-тю! — уже в дороге...

И вдруг вся моя выдумка показалась мне такой простой и легковыполнимой, что я просияла.

Всю дорогу от дома до гимназии я все соображала, как и чем бы лучше заслужить наказание. Первый урок был французский, но французенку, веселую, добрую и ласковую девушку, мы никогда не решились бы огорчить. Второй урок — Яковлев. Но что бы я ни сделала на этом уроке, добрый Василий Васильевич все спустит мне с рук, так как в памяти его надолго остался мой благородный, по его мнению, поступок, когда я, единственная из всего класса, блестяще ответила «Демьянову уху», в то время как другие... Но не стоит, однако, вспоминать старое... Третий урок — батюшки. Батюшка считался у нас самым взыскательным из всех учителей, и каждый промах на его уроке наказывался особенно строго... Конечно, грешно будет с моей стороны перевернуть священную историю, но что же делать, если иначе мне не заслужить наказания и не попасть к моим друзьям!

Я так глубоко задумалась над решением этого вопроса, что не заметила, как мы подошли к знакомым дверям.

— Ну, будьте умными хоть сегодня! — проговорила Матильда Францевна. Она ежедневно говорила одну и ту же фразу, когда при помощи гимназического сторожа Иваныча мы с Жюли снимали бурнусы и калоши.

Потом Бавария и ее клетчатая накидка и клетчатый бант на шляпе исчезли за дверью, а мы с Жюли, крепко обнявшись (мы никогда не ходили теперь иначе), побежали в класс.

— Что ты такая бледная, Леночка? — заботливо осведомилась у меня Жюли.

— Бледная? Разве? — принимая самый беспечный вид, произнесла я.

— Ну да, я понимаю тебя, — продолжала моя двоюродная сестрица, — тебе жаль бедного Никифора Матвеевича и Ньюру, да?

— Да, — отвечала я машинально, думая совершенно о другом.

Урок французского языка и класс Василия Васильевича я присидела как на иголках.

«Господи! Что-то будет? Что-то будет?» — мысленно твердила я.

Но вот наступил урок закона Божия. Батюшка вошел в класс ровно через две минуты после звонка. Дежурная Соболева вышла на середину класса и прочла молитву перед учением. И вдруг, не успела Нина Соболева произнести последние слова молитвы: «...возросли мы Тебе, Создателю нашему, на славу, родителям же нашим на утешение, церкви и отечеству на пользу», — как дверь класса широко распахнулась и к нам вошла Анна Владимировна — начальница гимназии.

— Здравствуйте, дети, — произнесла она, ласково кивая нам своею седой как лунь головою и широко улыбаясь молодым лицом. — Я пришла узнать, насколько вы подвинулись в законе Божиим... Пожалуйста, батюшка, не обращайтесь на меня внимания и продолжайте урок, — почтительно обратилась она к священнику.

— Мы вам, Анна Владимировна, сейчас хорошим ответом похвастаем, — улыбаясь, ответил отец Василий. — Иконина-вторая, — назвал он меня, — отвечайте, что вам задано на сегодня.

Я поднялась со своего места. Ноги у меня двигались с трудом, точно свинцом налитые, а в голове так шумело, что в первую минуту я даже не могла понять, чего от меня требовали.

— Что вам задано на сегодня? — снова повторил свой вопрос священник.

Я отлично знала, что задано, и выучила отлично историю прекрасного Иосифа, которого злые братья продали в Египет в неволю, но язык не слушался меня. Я думала в эту минуту:

«Что делать? Огорчить ли дурным ответом добрую Анну Владимировну и заслужить наказание?.. Наказание я заслужу — я знала наверно. (У нас всегда наказывали за незнание урока закона Божия, оставляли девочек на два-три лишние часа по окончании урока в гимназии.) Это мне даст возможность попасть к Нюре и ее папе, который, может быть, умирает в эту минуту... Или же лучше заслужить похвалу начальницы, доказать, что я „пай-девочка“, „умница-разумница“, но зато не повидаться с моими друзьями в такое тяжелое для них время! Нет! Нет! Никогда! Ни за что!»

Я разом решила, что мне надо было делать.

— Что вам задано на сегодня? — значительно уже строже произносит свой вопрос в третий раз батюшка.

Я смотрю на него глупыми, ничего не выражающими глазами и молчу. Упорно молчу, точно воды в рот набрала.

— История Иосифа! История Иосифа! — шепчет мне отчаянным шепотом Жюли с первой скамейки.

— История Иосифа! — повторяю я ужасно глупо, как попугай.

— Ну и расскажите мне, кто был Иосиф, — как бы не замечая моего странного ответа, говорит батюшка и глубже усаживается в кресле, приготовляясь к хорошему ответу.

Я молчу...

Ах, как это ужасно — стоять и молчать в то время, как языку так и хочется рассказать все то, что он знает, от слова до слова! Но я молчу... Молчу как истукан, как немая.

— Кто был Иосиф? — совсем уже строго спрашивает теперь батюшка.

Капельки пота выступают у меня на лбу. Щеки делаются сначала белыми, как бумага, потом красными, как кумач.

— Иосиф... Иосиф... — лепечу я, захлебываясь, и делаю круглые глаза. — Иосиф был царь...

— Царь? — удивляется батюшка. — Вот так удружила! А не сын ли царя? — прищурив на меня глаза, что означало у него высшую степень недовольства, спрашивает он снова.

— Ну, сын царя! — отвечаю я бесшабашно.

Японка даже на стуле привскочила. Надо сказать, что история с красной книжечкой давно объяснилась; Жюли откровенно призналась, что книжку унесла и сожгла она, и Зоя Ильинична снова засчитала меня прежней хорошей ученицей. Поэтому она очень удивилась, что хорошая ученица, знавшая всегда отлично уроки, отвечает, да еще таким тоном, какую-то чепуху.

И батюшка удивлен, и начальница. Она даже в лице изменилась, покраснела немного и смотрит на меня такими грустными-грустными глазами.

— Ну-с, что же сделал этот царь, или сын царя, по-вашему, Иосиф? — снова спрашивает батюшка и прищуривается сильнее.

— Он продал братьев в неволю, — отвечаю я храбро, даже не сморгнув.

Кто-то фыркает за моею спиной. Кто-то закашливается, стараясь удержать бешеный прилив хохота.

Но батюшка остается спокойным, и если он сердится, то этого совсем не заметно на взгляд.

— Как продал? — снова задает он вопрос. — Всех двенадцать продал разом?

— Всех двенадцать разом! — вру я без запинки.

Японке положительно делается дурно в эту минуту.

— Иконина, опомнитесь! — кричит она не своим голосом и, налив себе воды из графина, выпивает весь стакан залпом.

Класс не может сдерживаться больше. Девочки захлебываются от хохота, не будучи в силах удержаться.

И вот весь этот шум покрывает тихий, но внушительный голос Анны Владимировны:

— Иконина, стыдись! Я считала тебя хорошей, прилежной девочкой, а между тем оказывается, ты ничего не знаешь!.. Это возмутительно!.. Ты будешь наказана. Оставьте ее на три часа по окончании уроков, — обратившись к Японке, говорит начальница.

Вся обливаясь потом, я иду и сажусь на свое место.

— Бедная Леночка! Что случилось с тобой! — сочувственно шепчет мне на ухо Жюли и крепко сжимает мои похолодевшие пальцы.

Ни Жюли, ни другие, конечно, не догадываются, что я сама желала быть оставленной после уроков и что я вполне довольна.

Пока все устраивается, как я хочу. Я скоро, скоро увижу вас, бедные, милые мои Никифор Матвеевич и Нюрочка.

20. Наказанная. — В путь-дорогу. — Потерянная записка

Серые стены... серые доски... серые окна и серый, ненастный день, заглядывающий в эти окна, не могут, конечно, способствовать хорошему расположению духа. К тому же неизвестность мучает меня: что-то делается там у моих друзей в скромном маленьком домике на окраине города? Жив ли еще добрый Никифор Матвеевич, которого за наши с ним две встречи я успела полюбить, как родного?.. А тут еще сиди и жди условного часа, когда сторож Иваныч придет в класс и объявит мне, что уже шесть часов и что срок наказания кончен. И тогда... тогда...

Но часы идут так медленно, так ужасно медленно... Я сижу около двух часов, я слышала, как било пять за дверьми, а мне кажется, что около суток я провела одна в этом скучном, пустом и неуютном классе.

От нечего делать я начинаю считать квадратики на паркете. Один... два... три... четыре... Но дойдя до двадцатого, спутываюсь; в глазах начинает рябить, и я бросаю это занятие.

А на дворе-то что делается!.. Господи Боже!

Темно, ни зги не видать... Метель так и кружит, так и кружит...

Как-то я дойду?

Если бы у меня были хоть карманные деньги, можно было бы нанять извозчика. Но денег мне не дают на руки, а те, что остались после мамочки, Матильда Францевна велела опустить в копилку.

А что, если за мной придет Дуняша или Бавария? Побоятся такой непогоды и явятся сюда. Тогда прости-прощай всему!

Я даже губы стиснула и застонала, точно от боли, при одной мысли об этом. Но нет; вряд ли кто догадается прийти сюда. В шесть часов у нас в доме обедают, и Дуняше приходится помогать Федору прислуживать за столом, а Бавария... Мы слишком близко живем от гимназии, для того чтобы Бавария могла побеспокоиться на мой счет! Разве я не смогу пройти одна две улицы и переулок?!

Раз... два... три... — раздалось мерными ударами за дверь — четыре... пять... шесть!..

Шесть часов!.. Дождалась... Слава Богу!

Вошел Иваныч.

— Пожалуйте, птичка, из клетки, — ласково улыбаясь, пошутил он. (Иваныч был славный старик, любил нас, маленьких, и всегда жалел наказанных.)

— Не будете проказничать больше, а?

— Не буду, Иваныч, — через силу улыбнулась я и, вся замирая от волнения, спросила прерывающимся голосом: — Что, Иваныч, пришел кто-нибудь за мной?

Ах, каким долгим-долгим показалось мне время, пока добрый старик не ответил:

— Никого, кажись, нет. Никто не приходил.

«Никого нет! Никто не приходил! — запрыгало и заплясало что-то внутри меня. — Хоть в этом удача, слава Богу! Никто не помешает мне тотчас же пуститься в путь!»

Быстро сбежала я с лестницы, надела теплый бурнус, капор и калоши и со всех ног бросилась к дверям.

— Пойдите, пойдите, барышня! Книжечки-то и забыли! — крикнул мне вслед Иваныч.

— Нет, нет, книг я не возьму сегодня с собою. Я все уроки выучила! — солгала я чуть не в первый раз в моей жизни и тут же густо покраснела до корней волос.

Но старик не заметил ни моей лжи, ни румянца, залившего мои щеки.

— Умница! Умница, что выучила, — похвалил он. — А вот закройтесь-ка да застегнитесь получше... Ишь погода-то какая! Так и рвет! Так и рвет! Да и мороз к тому же злющий. Настоящий крещенский морозец. Потеплее кутайтесь! Долго ли до греха! — заботливо запахивая на мне бурнус, ласково говорил Иваныч.

Но я едва-едва стояла на месте.

Наконец последняя пуговица застегнута, сторож широко распахивает мне дверь... и я на улице.

Ветер, вьюга, метель и хлопья снега — все это разом охватило меня со всех сторон. Я едва удержалась на ногах и, с трудом передвигая их, пошла по панели.

День стоял сумрачный, темный. Несмотря на ранний час вечера, на улице какая-то жуткая полутьма, по дороге попадаются редкие прохожие, зябко прячущие голову в поднятые воротники пальто и шинелей. А мороз назойливо щиплет нос, лоб, щеки и концы пальцев на ногах и руках.

Прежде чем пуститься в путь, надо было взглянуть на адрес, который был очень подробно написан Никифором Матвеевичем на лоскутке бумаги и который, мне хорошо помнится, я сунула, уходя из дома, в карман. Я быстро опустила туда руку.

Но что это? Адреса в кармане не оказалось. Напрасно я раз десять подряд вытаскивала вещи, находившиеся там, — и носовой платок, и игольник, и щеточку для волос, и записную книжку. Записки с адресом не было между ними. Должно быть, я выронила ее как-нибудь.

Сначала я очень испугалась сделанному мною открытию, но через минуту-другую утешила себя на этот счет: Нюрочка так подробно объясняла мне, как найти дорогу к их дому, что я разом перестала волноваться и только прибавила шагу и быстрее зашагала навстречу метели и ненастью, все вперед и вперед.

21. Под шум ветра и свист метелицы

Ветер свистел, визжал, кряхтел и гудел на разные лады. То жалобным тоненьким голоском, то грубым басовым раскатом распевал он свою боевую песенку. Фонари чуть заметно мигали сквозь огромные белые хлопья снега, обильно сыпавшиеся на тротуары, на улицу, на экипажи, лошадей и прохожих. А я все шла и шла, все вперед и вперед...

Нюрочка мне сказала:

«Надо пройти сначала длинную большую улицу, на которой такие высокие дома и роскошные магазины, потом повернуть направо, потом налево, потом опять направо и опять налево, а там все прямо, прямо до самого конца — до нашего домика. Ты его сразу узнаешь. Он около самого кладбища, тут еще церковь белая... красивая такая».

Я так и сделала. Шла все прямо, как мне казалось, по длинной и широкой улице, но ни высоких домов, ни роскошных магазинов я не видала. Все заслонила от моих глаз белая, как саван, живая рыхлая стена бесшумно падающего огромными хлопьями снега. Я повернула

направо, потом налево, потом опять направо, исполняя все с точностью, как говорила мне Нюрочка, — и все шла, шла, шла без конца.

Ветер безжалостно трепал полы моего бурнусика, пронизывая меня холодом насквозь. Хлопья снега били в лицо. Теперь я уже шла далеко не с той быстротой, как раньше. Ноги мои точно свинцом налились от усталости, все тело дрожало от холода, руки заоченели, и я едва-едва двигала пальцами. Повернув чуть ли не в пятый раз направо и налево, я пошла теперь по прямому пути. Тихо, чуть заметно мерцающие огоньки фонарей попадались мне все реже и реже... Шум от езды конок и экипажей на улицах значительно утих, и путь, по которому я шла, показался мне глухим и пустынным.

Наконец снег стал редеть; огромные хлопья не так часто падали теперь. Даль чуточку прояснела, но вместо этого кругом меня воцарились такие густые сумерки, что я едва различала дорогу.

Теперь уже ни шума езды, ни голосов, ни кучерских возгласов не слышалось вокруг меня.

Какая тишина! Какая мертвая тишина!..

Но что это?

Глаза мои, уже привыкшие к полутьме, теперь различают окружающее. Господи, да где же я?

Ни домов, ни улиц, ни экипажей, ни пешеходов. Передо мною бесконечное, огромное снежное пространство... Какие-то забытые здания по краям дороги... Какие-то заборы, а впереди что-то черное, огромное. Должно быть, парк или лес — не знаю.

Я обернулась назад... Позади меня мелькают огоньки... огоньки... огоньки... Сколько их! Без конца... без счета!

— Господи, да это город! Город, конечно! — восклицаю я. — А я ушла на окраину...

Нюрочка говорила, что они живут на окраине. Ну да, конечно! То, что темнеет вдали, это и есть кладбище! Там и церковь, и, не доходя, домик их! Все, все так и вышло, как она говорила. А я-то испугалась! Вот глупенькая!

И с радостным одушевлением я снова бодро зашагала вперед.

Но не тут-то было!

Ноги мои теперь едва повиновались мне. Я еле-еле передвигала их от усталости. Невероятный холод заставлял меня дрожать с головы до ног, зубы стучали, в голове шумело, и что-то изо всей силы ударяло в виски. Ко всему этому прибавилась еще какая-то странная сонливость. Мне так хотелось спать, так ужасно хотелось спать!

«Ну, ну, еще немного — и ты будешь у твоих друзей, увидишь Никифора Матвеевича, Нюру, их маму, Сережу!» — мысленно подбадривала я себя, как могла...

Но и это не помогало.

Ноги едва-едва передвигались, я теперь с трудом вытаскивала их, то одну, то другую, из глубокого снега. Но они двигаются все медленнее, все... тише... А шум в голове делается все слышнее и слышнее, и все сильнее и сильнее что-то бьет в виски...

Наконец я не выдерживаю и опускаюсь на сугроб, образовавшийся на краю дороги.

Ах, как хорошо! Как сладко отдохнуть так! Теперь я не чувствую ни усталости, ни боли... Какая-то приятная теплота разливается по всему телу... Ах, как хорошо! Так бы и сидела здесь и не ушла никуда отсюда! И если бы не желание узнать, что сделалось с Никифором Матвеевичем, и навестить его, здорового или больного, — я бы непременно соснула здесь часок-другой... Крепко соснула! Тем более что кладбище недалеко... Вон оно видно. Верста-другая, не больше...

Снег перестал идти, метель утихла немного, и месяц выплыл из-за облаков.

О, лучше бы не светил месяц и я бы не знала по крайней мере печальной действительности!

Ни кладбища, ни церкви, ни домиков — ничего нет впереди!.. Один только лес чернеет огромным черным пятном там далеко, да белое мертвое поле раскинулось вокруг меня бесконечной пеленой...

Ужас охватил меня.
Теперь только поняла я, что заблудилась.

22. Назад! — Волки. — Сон про царевну Снежинку

— Назад! В город! Туда, где сверкают огоньки! Где ходят люди! Туда, туда скорее! Я сбилась с дороги! Впереди страшный черный лес, где не может быть жилья Ньюры... Ни кладбища, ни церкви! Назад, скорее!.. — так говорила я себе, делая напрасные усилия подняться, и тут же почувствовала, что не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Ноги нестерпимо ныли и горели, и руки горели, и лицо, и все тело. Я не могла сделать ни шагу больше в таком состоянии...

Вдруг до ушей моих донесся громкий, жалобный вой.

Я вздрогнула от ужаса и закрыла лицо руками. Что это? Неужели еще новая опасность грозит мне сейчас? Неужели я пришла сюда, чтобы быть заживо съеденной волками? Положим, лес еще далеко, но разве ужасные звери не могут прийти сюда оттуда, почуя добычу поблизости!.. О!..

Теперь я дрожала не от холода только... Страх, ужас, отчаяние — все это разом наполняло мое маленькое сердечко.

В страхе повернулась я лицом к лесу, и тут же жалобный крик вырвался из моей груди. Я увидела две яркие светящиеся точки, которые приближались со странной быстротой по снежному полю прямо ко мне. Точки ярко-ярко горели во тьме. Я не сомневалась теперь, что это были глаза волка. Он, казалось, со всех ног несся по дороге.

Я снова вскочила на ноги, пробуя бежать, и снова бессильно опустилась в сугроб.

И странное дело: несмотря на приближающиеся ко мне с каждой секундой глаза волка, несмотря на ужасный вой, который гулко разливался по всей поляне, я уже не чувствовала того страха, который охватил меня за минуту до того. Снова непонятная сонливость наполнила все мое существо. Сон подкрался ко мне неслышным шагом, осторожно опустил мою голову на мягкую постель из снежного сугроба, насильно закрыл мне глаза отяжелевшими веками — и в тот же миг приятная теплота разлилась по всему моему телу. Точно кто-то заботливо опустил меня в теплую-теплую ванну, от которой боль в ногах и руках разом исчезла, прошла. Я не боялась теперь ни волков, ни их горящих глаз, ни громкого воя...

— Только бы уснуть... Только бы уснуть! — произнесла я чуть слышно. — Больше мне ничего не надо!

— Неужели не надо? — послышался надо мной веселый звонкий смех.

Я открыла глаза, испуганная, удивленная.

— Кто здесь? Кто смеется?

— Разве ты не видишь? Вот смешная девчурка! Гляди!

Я быстро обернулась.

— Ах!

Передо мною девочка... Прелестная белокурая девочка... Она смеется так, точно серебряные колокольчики дрожат в воздухе. И какая она вся хорошенькая! Чудо! Нежненькая, беленькая, как сахар, а за спиною у нее прозрачные крылышки, которые так и блестят-переливаются в лучах месяца.

— Кто ты? — спрашиваю я девочку, которая ужасно нравится мне.

— Разве ты меня не знаешь? — смеется она. И снова серебряные колокольчики поют-заливаются в воздухе. — Я царевна Снежинка, — говорит девочка. — Я летаю в воздухе, поднимаюсь на облака и спускаюсь на землю. Хочешь, будем летать вместе со мною?

— Хочу! Хочу! Ах, как это должно быть весело! Полетим, Снежинка! Скорей! Скорей! — радостно кричу я и протягиваю ей руки.

Колокольчики снова звенят. Девочка смеется.

— Летим! Летим! — говорит она и, схватив меня за руку, поднимается на воздух.

Я — за нею.

Ах, как хорошо лететь так высоко-высоко над землею, над белым снежным полем, над черным лесом.

— В город! В город! Летим в город, Снежинка! — прошу я.

— В город, в город! — смеется девочка своим колькольчиком-голоском, и мы летим туда, где сияют бесчисленные огоньки, где стоят высокие дома и ярко освещенные магазины.

— Что ты хочешь видеть? — спрашивает Снежинка, повернув ко мне свое прелестное личико.

— Нюрочку и ее папу! — вырывается у меня взволнованный крик.

— Отлично, — говорит мне моя спутница, — ты увидишь их сейчас!

— Разве он здоров, Нюрин папа? — спрашиваю я Снежинку и в страхе ожидаю ответа.

— Сама увидишь! Сейчас увидишь! — звенят колокольчики, и мы поворачиваем в сторону от шумных светлых улиц и летим к темной окраине большого города.

Вот и кладбище... Вот и церковь, и маленький домик в стороне от нее на краю дороги. Там светло, огонь. Видно, никто не спит.

— Смотри в окно! — звенит Снежинка, и в одну минуту мы спускаемся с нашей высоты к маленькому оконцу.

Я вижу всю семью моего друга и его самого, здорового, невредимого, сидящего в кругу своей семьи. Он рассказывает что-то жене и детям, а те улыбаются, а у самого слезы стоят в глазах. Слезы умиления и счастья.

— Ну, что же, узнала ты, что хотела? — спрашивает царевна Снежинка.

— Все! Все узнала! — говорю я радостно. — Теперь летим в другое место, в дом моих родных! Я хочу видеть, что они там делают после моего отъезда.

— Хорошо! Изволь! — звенит моя спутница. — Сегодня я в твоём распоряжении. Проси чего хочешь!

И мы снова поднимаемся с нею на воздух и летим с быстротою стрелы.

Передо мною высокое четырехэтажное здание с массою ярко освещенных окон. Я сразу узнаю его. В нем живет дядя Мишель и его семья.

Быстро подлетаем мы с царевной Снежинкой к окну столовой, и я заглядываю туда.

Вся семья сидит за вечерним чаем. Но никто не притрагивается к нему. Стенные часы бьют десять.

Входит Федор, быстро и неслышно, как всегда.

— Что барышня? Еще не возвращалась? — спрашивает дядя.

— Никак нет, — отвечает лакей.

Дядя бледнеет и хватается за голову. На его лице такое страдание, что жутко делается смотреть на него.

— Успокойся, Мишель, — говорит тетя Нелли, — я заявила в полицию, и Лена найдется!

— Ах, что ты говоришь, — в тоске восклицает дядя, — пока полиция отыщет ее, она может замерзнуть в какой-нибудь трущобе! Бедная девочка! Бедная малютка! Какой ответ я дам твоей покойной матери! — И дядя тихо, беззвучно рыдает, охватив руками голову.

— А все из-за Баварии! Все из-за нее! — слышится чей-то злобный шепот на конце стола.

— Что такое? Кто смеет? — так и подпрыгивает на своем стуле Матильда Францевна, сидевшая тут же. — Как вы смели сказать?

И, вскочив со своего места, она подбегает к Жюли, поместившейся подле Толи на противоположном конце стола.

— Конечно, из-за вас! Из-за вас все это случилось, — смело говорит девочка, и большие черные глаза ее зло сверкают из-под темных бровей. — Не обращались бы так худо с Леной, не обижали бы ее поминутно — не случилось бы ничего такого!

— Молчать! — возвышает голос Бавария.

— Правда! Правда, Жюли! — пищит за сестрою мой милый Пятница, и слезы ручьем

текут из его глаз. — Килька ревельская! Лягушка! Злючка! Крыса! Клетчатая вешалка! Ненавижу вас за Лену, ненавижу! Бррр!

И он плачет на весь дом, громко всхлипывая и утирая глаза кулаками.

Я не могу больше выносить этого зрелища и шепчу моей спутнице:

— Летим скорее! Летим отсюда!

— Охотно! Но куда? Я жду твоего указания, — слышится ее колыбельный-голосок.

Я задумываюсь на минуту. Потом быстрая мысль вихрем пронесется в моей голове.

— Я хочу видеть маму! Покажи мне мою маму, царевна Снежинка! Ты говоришь, что все можешь, лети со мной к ней.

На этот раз колокольчики не звенели и воздушная девочка не рассмеялась своим звонким смехом. Лицо у нее стало серьезное, даже печальное, и она сильнее сжала мою руку свою.

Мы медленно стали подниматься вверх.

Но чем выше летели мы, тем взмах крыльев Снежинки становился все медленнее и слабее... И личико у нее побледнело, и губки раскрылись. Видно было, что она дышала с трудом.

Еще один взмах, одно усилие — и внезапно моя спутница заколебалась в воздухе.

— Что с тобою? Ты устала, Снежинка? — вскричала я.

— Нет! Нет! — услышала я слабый голосок у самого моего уха. — Но ты просишь невозможного. Такой услуги я тебе оказать не могу. Я слишком понадеялась на свои силы и этим погубила и тебя и себя. Мы падаем... смотри!

В ту же минуту я почувствовала, как моя спутница выпустила мои пальцы из своей руки, потом все закружилось, завертелось и заплясало перед моими глазами...

Ужас охватил меня всю...

— Снежинка, где ты? Где ты. Снежинка? Не оставляй меня одну! Мне страшно, мне страшно! — вскричала я диким голосом и, несколько раз перевернувшись в воздухе, быстро-быстро полетела со своей заоблачной высоты прямо на землю...

23. Сон переходит в действительность

— Снежинка! Где ты? Где ты? — кричу я еще раз и с усилием открываю глаза...

Где я? Кто это?

Передо мною Снежинка. На ней белое платье, но лучезарных крыльев я не вижу у нее за спиной. И звонкого смеха ее не слышно больше.

Она заботливо склоняется надо мною. Я не вижу хорошо ее лица, потому что лампа заслонила его зеленым абажуром и стоит Снежинка спиной к свету. Но я рада, что она снова подле меня. Мне хочется утешить ее, успокоить. Мне самой так хорошо и тепло в широкой, мягкой постели под стеганым шелковым одеялом, на мягкой подушке, от которой так чудесно пахнет.

Я хочу, чтобы и Снежинке было так же хорошо, и я протягиваю к ней руки и прошу слабым голосом:

— Пожалуйста, Снежинка, ляг со мною... Ведь ты тоже устала. Отдохни.

Она послушно кладет голову на подушку рядом. Свет лампы падает на ее лицо — и...

— Анна! — вскрикиваю я не своим голосом. — Вы! Здесь! Со мной!

— Тише, тише, Леночка! — шепчет подле меня хорошо знакомый, дорогой голосок. — Ради Бога, тише! Доктор прописал тебе покой и сон, а то он запретит мне ухаживать за тобою и прогонит отсюда!

— Прогонит отсюда? О!

И я с силой обвиваю руками тоненькую шейку моего друга и не отпускаю ее. Мне кажется, что сон еще продолжается... что, как только я отпущу от себя Анну, то снова окажусь в снежном поле, снова завоет вьюга и закрутит метелица и снова увижу я перед собою две горящие точки — глаза волка.

И, вспомнив о нем, я дико кричу на всю комнату:

— Спасите меня! Спасите! Спасите!

На крик мой в дверях появляется высокий, очень красивый седой господин с добрым печальным лицом и говорит тихо:

— Твоя больная беспокоится, Анна! Не позвать ли снова доктора?

— О, папочка, позволь мне рассказать ей, как она попала сюда! Иначе она все будет думать об этом и не уснет, пожалуй, всю ночь, — взмолилась молоденькая графиня, вырвавшись из моих объятий и бросаясь к высокому старику.

Тот чуть заметно кивнул головой.

Тогда Анна бросилась ко мне, обхватила мою голову обеими руками и быстро-быстро заговорила, наклоняясь ко мне:

— Вот видишь, Леночка, когда ты ушла из гимназии, то благодаря метели сбилась с дороги и попала на самую окраину города, где ничего нет, кроме пустырей и огородов да голодных бродячих собак. Ты сбилась с дороги, села в сугроб и наверное бы замерзла, если бы Богу не угодно было спасти тебя. Смотри, как милосерден Он, Леночка! И пути Его неисповедимы! Случайно в эту самую ночь папа со своим старым приятелем князем Бецким и еще другими охотниками возвращались с охоты на зайцев, на которых они каждую неделю охотятся за городом. И вдруг, когда их тройка подъехала к тому месту, где была ты, папа услышал твой стон. Он остановился, все вылезли из саней. Папина собака Дик побежала вперед, остальные, захватив ручной фонарь, за ней — и тебя нашли в снегу среди поля... Остальное тебе нечего досказывать. Можешь себе представить мое удивление и ужас, когда тебя, бесчувственную, замерзшую, два часа тому назад привезли сюда! Папа и не знал, кого он спас: ему и в голову не приходило, что он привез друга своей дочурки... Сейчас же позвали доктора... Приняли меры... И... и... Верно, твоя мамочка очень усердно молилась за тебя на небе, если Господь таким чудесным образом спас тебя от смерти, — закончила Анна свой рассказ. На прекрасных глазах ее были слезы. Она обняла меня, и мы тихо зарыдали в объятиях друг друга...

Теперь все стало для меня ясным как день. Глаза волка были не что иное, как два фонаря графской тройки. Страшный вой был воем голодной собаки. Голосок Снежинки, так странно похожий на колокольчик, и был колокольчик, заливавшийся под дугой графской тройки. Это было все так просто! Совсем просто! Но одного не понимала я: чем могла я, глупая маленькая девочка, заслужить такое чудесное спасение и вдобавок, точно в волшебной сказке, попасть прямо из пустынного темного поля к моему лучшему другу, графине Анне, так горячо любившей меня!

24. Мое счастье. — Выбор

С каким радостным чувством проснулась я на другое утро!.. Анна с трудом могла удержать меня в постели до приезда доктора. Я чувствовала себя бодрой и здоровой. Вчерашние невзгоды казались мне теперь каким-то тяжелым сном, тем более что Анна прочла мне из газеты о спасении всей поездной прислуги и пассажиров, потерпевших крушение на поезде N 2. Во вчерашнем номере вкралась опечатка. Убитых не было, раненых также. Стало быть, и мой друг Никифор Матвеевич был здоров и невредим.

Приехал доктор. Осмотрел меня, подивился моей здоровой натуре и позволил встать с постели.

Не знаю, кто из нас больше обрадовался этому известию — Анна или я! Первое, что она сделала — показала мне всю их квартиру. Конечно, отец Анны не был министром, а только имел высокий чин. Но что за роскошный дворец увидела я! У министра, должно быть, не было такого. Всюду зеркала, хрусталь, золото, бронза. А сколько красивых картин висело на стенах! Сколько прелестных безделушек стояло на изящных этажерках!

Я громко восхищалась всем, решительно всем.

— Ах, как хорошо здесь! Ни за что бы не ушла отсюда! — вскричала я, не отрывая глаз

от прелестной статуэтки собаки, стоявшей у зеркала на золоченом столике с мраморной доской.

Анна повернула ко мне свое красивое личико и спросила очень серьезным тоном:

— Ты бы хотела остаться здесь, Лена?

— До завтра? — спросила я.

— Нет, дольше. Надолго... навсегда... постоянно.

— Ах! — вырвалось у меня радостным звуком.

— Хотелось бы быть постоянно со мною, хотелось бы сделаться сестрой моей?.. Хотелось бы, Лена?

— Анна! Милая! Не говори так! Не дразни меня!

Я сама не заметила, как говорила ей «ты». Счастье казалось мне слишком велико, чтобы я могла получить его, я, маленькая, ничтожная Лена!..

— Дразнить тебя! Тебя, мою девочку! — вскричала Анна и, неожиданно притянув меня к себе, посадила на колени.

— Слушай же, Лена, — произнесла она еще более серьезным, торжественным голосом, — когда я увидела тебя, бесчувственную, жалкую, при смерти, когда папа привез тебя, замерзшую, к нам, я поняла, как сильно люблю тебя. А полюбила я тебя с той самой минуты, как увидела тебя, плачущую, обиженную подругами, там, в библиотеке... И мне вспомнились некоторые слова твоих двоюродных сестер и брата у вас на елке, из которых я поняла, как все они очень мало любят тебя и что тебе тяжело живется у дяди. И тут же я решила просить папу оставить тебя у нас. Мне так скучно живется одной! Папа все время на службе; с подругами я никак не могу сойтись, сестер и братьев у меня нет. Ты... Ты... хочешь быть моей сестрой, Леночка? — неожиданно спросила она.

— А твой папа? Что скажет он? — начала я робко.

— Папа ничего не скажет. Папа порадуетя только этому, дитя мое, — услышала я ласковый голос за собою и, живо обернувшись, увидела старого графа.

Что-то толкнуло меня вперед. Точно кто взял меня за руку и подвел к нему.

— Очень рад, милое дитя, что ты останешься с нами, — произнес он своим ласковым голосом, взяв обеими руками мою голову и целуя меня отечески в лоб, — мы уже с Анной решили вчера твою судьбу. Надеюсь, ты не против нашего решения.

— О, смеет ли она быть против! — зажимая мне рукою рот и в то же время целуя меня, со смехом вскричала Анна.

Мне казалось, что я самый счастливый человек в мире в эту минуту...

— Ты должна быть умницей, Лена, и съездить к твоим родным успокоить их, — сказал старый граф, когда мы с Анной сидели у ярко пылающего камина в его кабинете, где Анна всегда проводила послеобеденное время.

— Вы уже были у них, папа? — робко осведомилась я. (Старый граф приказал мне называть его так.)

— Да, был сегодня утром, и дядя очень хочет видеть тебя.

— В таком случае я еду! — вскричала я и, тотчас же обернувшись на свою названую сестричку, спросила тихо: — Но ты поедешь со мной, не правда ли, Анна?

— Конечно, конечно, — поспешила ответить она, и мы побежали одеваться.

Не скажу, чтобы мысль повидаться с родными улыбалась мне. Всего только день провела я в доме моего названного отца с моей милой сестричкой, как все остальное отошло от меня далеко-далеко, и хорошее и дурное разом было забыто мною.

С нехорошим чувством подъехала я к знакомому дому и, крепко держась за руку Анны, как будто меня отнимали от нее, поднялась по лестнице и позвонила у дверей.

Нас, очевидно, ждали. Не успела я войти в прихожую, как из комнаты выбежала Жюли и повисла у меня на шее. Дядя быстро вошел за ней, следом за ним бежал Толя. Остальные столпились в дверях.

— Лена, девочка моя, можно ли так пугать! — произнес взволнованным голосом дядя и, подняв меня на воздух, покрыл мое лицо поцелуями.

Милый дядя! А я и не думала, что он так любит меня!

Он очень постарел и осунулся за ночь, и еще новая морщинка легла на его высоком лбу.

Я отвечала горячими поцелуями на его ласку. Потом чьи-то руки тихонько отвели меня от него, и я увидела перед собою приветливое, красивое лицо. Я с трудом узнала холодные, строгие черты тети Нелли в этом сразу изменившемся лице.

Нет, я положительно никого не узнавала в этот вечер. Даже Бавария — и та, мягко улыбаясь, подала мне руку и произнесла возволнованно:

— Ну вот, слава Богу, вы и вернулись, Елена!

— Вернулась на сегодня. Вечером я уеду снова, — произнесла я и помимо желания торжествующими глазами обвела окружающих.

— Куда? Как? Почему? — слышалось отовсюду.

Тогда Анна выступила вперед и объяснила, в чем дело.

Едва только она успела произнести: «Леночка моя сестра и останется жить с нами», — как вдруг громкое всхлипывание слышалось из угла залы:

— Бедный Пятница! Бедный Пятница! Где твой Робинзон?

Я сразу догадалась, кому принадлежала эта жалоба, и бросилась утешать бедного мальчика. Но вдруг что-то жалкое, маленькое, беспомощное и больное преградило мне дорогу.

— Лена, Лена! — вскричала Жюли, падая передо мною на колени. — Если ты уйдешь, Лена, я опять стану гадкая горбунья-уродка и забуду все то хорошее, чему научилась, глядя на тебя.

И она умоляюще складывала ручонки, вся дрожала от волнения, ловила мои руки и целовала их.

В одну минуту и мой милый Пятница очутился подле.

— Не смей уходить, Ленуша! Не смей уходить!.. Я люблю тебя... Я не пущу тебя, слышишь, не пущу!.. Умру с горя... У меня снова припадки начнутся... От тоски будут припадки, и я умру, — лепетал он сквозь слезы, бросаясь ко мне.

Ниночка, стоя подле матери, тоже кусала губы, глядя то на брата, то на сестру. Тогда Жорж подошел ко мне, легонько ударил меня по плечу рукою и, глядя куда-то в сторону, произнес, усиленно посапывая носом:

— Ты, может быть, из-за нас и оттого, что мы тебя задирали, не желаешь оставаться и уходишь. Так, ей-богу же, я Нинку вздую, если она хоть раз тебя Мокрицей назвать посмеет, а если сам, то язык себе откушу — вот что. Ведь ты уезжать вздумала из-за наших щелчков. Остроумно! — И, не выдержав больше, он отвернулся в угол и захныкал не хуже Толи.

Я взглянула на дядю. Он смотрел на меня печальными, скорбными глазами и не говорил ни слова. Только руки его были протянуты ко мне и в глазах было столько мольбы, что я не вынесла больше.

— Я остаюсь! Я остаюсь с вами! — вскричала я не помня себя, обнимая зараз и дядю, и Жюли, и Ниночку, и Толю. — Я остаюсь! — рыдала я. — Я здесь нужнее... да, да, нужнее. И Жюли я нужна, и Толе, и всем... Прости, прости меня, Анна!

Молоденькая графиня приблизилась ко мне, обняла меня, и ее прекрасные глаза светились.

— Ты права, Лена, — произнесла она тихо, — у меня тебя ждет вечный праздник, а здесь ты должна быть утешением. Здесь ты нужнее. Я так и скажу папе. Иначе ты поступить не можешь. — И она протянула мне свою маленькую ручку.

— Спасибо, девочка, я глубоко ценю твою жертву, — произнес дядя и горячо поцеловал меня.

Тетя Нелли кивнула мне головой и произнесла ласково:

— Я и не думала, что Елена такой чудный, благородный ребенок.

Жюли душила меня поцелуями, в то время как просветлевший Толя кричал:

— Да здравствует Пятница! Да здравствует Робинзон!

